

Виктор Ерофеев МУЖЧИНЫ

Виктор Ерофеев
МУЖЧИНЫ

Виктор Ерофеев
МУЖЧИНЫ

Москва
Издательский дом
«Подкова»
1999

Е 78

Ерофеев В.В.

Мужчины. — Издание 3-е, дополненное, исправленное. — М.: Подкова, 1999. — 176 с.

Самый спорный писатель современности, автор романов «Русская красавица» и «Страшный суд», взял за объект новой книги мужчину.

Мужчина, утверждает Виктор Ерофеев, встречает XXI век с белым флагом капитуляции в руках. Это напоминает автору размахивание кальсонами. О русских мужчинах он пишет как об «облаке в штанах», но не в том нежном смысле, который имел в виду Маяковский, а как о фантоме: «Мы говорим на языке пустоты. Русский мужчина уже-еще не существует. Русский мужчина был, русского мужчины нет, русский мужчина может быть. Такова диалектика».

В 37 мозаичных текстах, которые собраны воедино темой и стилем на тонкой грани прозы и эссеистики, Виктор Ерофеев рассматривает мужчину в разных мыслимых и немыслимых позициях. Он пишет о культурных фасадах и шершавых изнанках женско-мужских отношений. Формулируя своеобразный кодекс мужчины, Виктор Ерофеев, как всегда, рассказывая о другом и других, с дерзкой откровенностью и самоиронией рассказывает о себе.

Е 78

УДК 300.36

ББК 15.56

Издание книги осуществлено при содействии:
ЗБИГНЕВА ШАБУЦКОГО

© В.Ерофеев, 1997

© Издательский Дом «Подкова», 1999

© С.Сорока, художественное оформление, 1999

ISBN 5-89517-060-1

УТРЕННЕЕ ЧУДО

Это — мальчик, который моется за занавеской. Это — бар, который работает допоздна. Это — последний поезд. Это — жесткий вагон. На борту вертолета надпись: «Смерти нет». Мужчины начинаются с утренней эрекции.

Она приходит ниоткуда, по собственному велению, невзирая на лица. Приятно сознавать, что мои друзья и враги приведены ею к общему знаменателю, обезоружены в своих постелях. Сильнее всякой идеологии, она реактивна и интерконтинентальна, с ней просыпаются папа римский и разные думские фракции, голливудские звезды, нацисты, китайцы, старьевщики, дипломаты, бандиты, издатели моих книг, британские принцы, международный красный крест.

Она — отрицание голой механики.

Это — нирвана со всеми признаками дерзости и богобоязни, возбуждения вне возбуждения.

Это — распредмеченный фантазм, когда я, по правде сказать, не объявлен ни субъектом, ни объектом, точнее, я предчувствую себя субъектом, превращающимся в объект.

Она оживляет меня. Я оживляю ее. Мы оживляемся.

На первый взгляд, она целиком состоит из патетики и экзальтации, из мишуры, из розовой поросятины, соловьиных клятв и братьев Карамазовых, короче, из обращающих на себя внимание достижений телесного духа, хотя, на самом

деле, в ней нет ничего патетичного. Как всякое выдающееся явление, она скромна.

Она — случайность и приключение.

Она — светлая скорбь освобождения от обязательств.

Из-за присущей ей очевидности, она — закрытое силовое поле. В отличие от всех других форм жизненной имитации, в ее случае нельзя отрицать, что вещь там есть.

Она предает забвению два института: семью и любовь.

Я прозреваю в ней гамму эмоциональных оттенков (от гордости до конфуза) и сущностей — материальные сущности, побуждающие к физическому, химическому, оптическому изучению, и сущности региональные (восходящие к эстетике, истории, социологии).

Жизнеутверждение утренней эрекции дорогого стоит.

Верность ей — лучший девиз для мужчины.

Время утренней эрекции — сугубо мужское время — не дробится на части. Синоним цельности, она умножается на самое себя, размывая все мыслимые границы между реальным и идеальным, преодолевая платоновские конструкции. В этом смысле утренняя эрекция — состояние до- и посткультурное, к самой же культуре отношение не имеющее. Культура обходит ее стороной.

Вместе с тем, культура в своей совокупности воздвигнута на утренней эрекции, является ее продолжением, дополнением, заветом, лучше сказать, комментарием.

Пушкин — утренняя эрекция в образе русского поэта.

Вермеер и Пикассо — ее двойники.

Гомер — ее присказка.

Данте — ее комедия.

Пруст — многотомная память об утренней эрекции.

Шуберт — ее музыкальный аналог.

Кант — ее извержение.

Кафка — прерванная поллюция.

Утренняя эрекция — состояние чистой, ничем не замутненной витальности. Для любого, кто держит ее в руке, это проверка качества жизни. Утренняя эрекция — перст Бога.

Именно в обстановке остановившейся интерпретации и заключается ее достоверность. Я до изнеможения констатирую: это было.

Она не имеет под собой никаких оснований. У нее нет прописки, она беспаспортна. Желание, не обусловленное конкретным желанием, она не хочет знать ничего, кроме себя. Она не может быть предметом описания, поскольку раскачивает меня между двух языков, повелительным и приблизительным.

Она расставляет всех по местам и соответствует моим ожиданиям. Она похожа на все что угодно, только не на то, что ей надлежало бы представлять, исходя из области гражданского права. Утренняя эрекция анархиста — консервативна, консерватора — анархична. Утренняя эрекция авангардиста — анахронична; монаха — маршальский жезл.

Собственно, утренняя эрекция — это единственная вещь, которая делает мужчину загадкой природы.

Утилитарный подход к утренней эрекции со стороны некоторых женщин, отразившийся в

анекдотах, кажется мне знаком женской неадекватности и напрасной фетишизацией жизни.

Эффективное средство образумить утреннюю эрекцию — это сделать ее общезначимой и банальной, так чтобы рядом с ней не оказалось никакого другого образа, по отношению к которому она могла бы утверждать свою скандальность. притягательность и безумие.

Мужчина начинается с утренней эрекции. В большинстве случаев он ею и заканчивается.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ СДВИГ

Что было — то прошло. Русский мужик встает с карачек. Пора ему превращаться в мужчину. Ну и рожа!

— А чего?

— Отряхнись...

— Ну!

— Причешись...

— Ну!

Меняем пятерню на расческу, броневи́к на парфюм, мат на английский, говно на дерьмо, вонь на лимон, халтуру на прибыль, Первомай на попа, чернуху на гуталин, хрипоту на долголетие, партбилет на перстень, литературу на телевизор, сталевара на джип, дырявые носки на новые, колхоз на бизнес, безденежье на деньги.

Меняем деньги.

Меняем самострой на дачу, избу на кирпич, колючую проволоку на обезьяну, траншею на кладбище, юдофобство на юдофильство, коммуналку на вертолет, квас на квас.

Меняем диссидентов на разнообразие.

Крутимся. Чистим ботинки. Изживаем собственную историю. Боремся с дурным запахом из всех щелей. Обращаем внимание на тело. Вот оно, мое тело. Глядя в зеркало, задумываемся о сексе.

Радует красота Москвы. Собираем своих детей в Оксфорд. Не надеемся на Родину — главное, чтобы она не мешала. Интеллигентно спорим о будущем этой страны.

— Почему я должен умирать за Ирландию? Пусть Ирландия умирает за меня, — сказал однажды Джеймс Джойс.

Его портрет изображен теперь на ирландских десятифунтовых банкнотах.

Покупаем красивый автомобиль. Покупаем много ненужных вещей. Сталкиваемся со своей глупостью. Что такое вкус? Понимаем: понадобится не одно поколение.

Меняем цвет лица.

Меняем сырость на бассейн, неторную тропу на автостраду, сыроежки на шампиньоны, хлебобобов на светскую хронику, Чернобыль на остров Капри, вытрезвитель на экологию, медведя на господина, кастет на рекламу, унижение на мужское достоинство, запой на фуршеты, воблу на семгу, руду на туалетную бумагу, очереди на акции, блядь на лесбиянку, целку с шустрым лобком на сударыню.

Меняем религию. В воровстве не находим былого очарования. Мучительно перестаем думать, что мы лучше всех. Уважаем русский флаг.

Меняем смерть на реинкарнацию, крысу на супермаркет, шпану на полицию, перегной на детей, юродство на ментальность, пенсионеров на нищих, идеологию на партнерство, золотые зубы на фарфоровые, страх на беспамятство, чеченцев на японцев, солдат на наркотики, мыло на шило.

Квас снова меняем на квас. Нужны ведь какие-то константы.

Меняем «мы» на «я». Не меняется. Меняем «мы» на «я». Не меняется. Меняем «мы» на «я». Не меняется. Нет, что-то все-таки поменялось.

Мужчина — новость.

Мужчина — это такой мужик, который нашел (мат на английский) his own identity и перевел понятие на русский язык.

Мужчина — это *ясное дело*.

Пора.

Я пишу текст цвета железа. Да я и сам — геологический сдвиг.

КОНЬ И ИЗБА

Бессмертную строчку «коня на скаку остановит» едва ли нужно понимать буквально. Скорее, хотел ли того Некрасов или нет, речь здесь идет не о конях, а о мужчинах. Русский мужчина-конь скачет, скачет, его несет, он сам не понимает, куда он скачет, зачем и сколько времени он скачет. Он просто скачет себе и все, он в табуне, у него алиби: все скачут, и он тоже скачет.

Мужчина-конь всю русскую историю проскакал, с шашкой наголо или без шашки, весь в мыле, глаза таращит, вид безумный. Дураки скачут, ленивые скачут, хитрожопые скачут, подхалимы скачут, умные тоже скачут — в общем, все скакуны.

Если все-таки разобраться, куда они, эти русские мужики, скачут, то выяснится, по размышлении, что скачут они из прошлого в будущее, из вчера в завтра, перепрыгивая через сегодня. В сегодня они себя никак не укладывают, им в сегодня тесно, душно, им в сегодня делать нечего, они в сегодня жить так и не научились. Они не дали в сегодня жить ни себе, ни другим, значит, надо скакать дальше, подальше от сегодня, значит, нужно придумать себе такую мечту и теорию, что завтра непременно будет лучше, чем сегодня, — и скорее скакать в завтра. А завтра — это не только завтрашнее сегодня, что было бы полбеды. Завтра — в перспективе — это смерть. И все скачут в смерть сломя голову.

Всех этих русских мужиков очень трудно остановить. Их табун на протяжении русской истории сильно одичал. Табун несется, запах пота, крови, перегара несется. Материя устала, но они все равно скачут.

И вот совсем не случайно появляется Некрасов и воспекает ту, которая «коня на скаку остановит». Некрасов правильно все понял, несмотря на свою скучную внешность и разные индивидуальные недостатки. Он понял роль русской женщины.

Без русской женщины русский мужчина-скакун был бы сейчас очень далеко, его бы уже след простыл. Не знаю, куда бы он ускакал в XIX веке, хотя и тогда он скакал под царским лозунгом «самодержавие, православие, народность» в Царство Божье на Земле, но в XX веке он бы уже давно очутился в коммунизме. Он ведь всегда мечтал об идеальном стойле, где можно навечно уткнуться мордой в идеальную кормушку. Но русская женщина не дала осуществиться утопии, остановила коня. Не диссиденты и не либеральные писатели, а русские женщины спасли наших мужиков от коммунизма.

Некрасов как реалист оказался близок действительности. Мужчина-конь не сам остановился, почуяв прелести русской женщины. Она сама остановила его «на скаку» и сказала: давай жить в сегодня. Давай, сказала она, жить так, чтобы у нас все было, как у людей. Мужик, конечно, не сразу понял, что она имеет в виду. На работе он много врал, а дома много пил, и поэтому он долго не мог врубиться. Он знал по старым песням, что существует любовь, но у него перед глазами

всегда стоял Ленин, а не что-нибудь другое, и этому другому, полузабытому, он редко находил достойное применение. И лишь иногда в бане, глядя на себя сверху вниз при мытье, он обнаруживал странные желания, но журнал «Плейбой» в то время не продавался, и он не знал, что делать с собой в этих случаях.

Русская женщина статистически на работе вралась куда меньше, а дома куда меньше пила. Она соображала лучше и была укоренена в сегодняшнем дне. Она стирала, гладила, красила губы даже в самый разгар культа личности, рожала детей, кормила грудью. Она следила за тем, чтобы у ее детей не висела сопля под носом. Она мечтала о том, чтобы купить мебель. Но, главное, любовь для нее была важнее коммунизма.

Сталин был непоследовательным мужчиной. Он стратегически верно уничтожил Бухарина и прочую оппозицию, но он непроницательно не ликвидировал женщину как класс. Нужно было бы всех баб сослать в ГУЛАГ и найти прогрессивный способ воспроизводства населения без применения детородных органов. Он этого не сделал, смалодушничал, постеснялся. Он запретил Библию и Коран, но позволил в советских магазинах продавать духи. Он даже, слабый человек, не потребовал от советских женщин бинтовать груди.

В результате груди съели Сталина.

Правда, он все-таки успел навредить. Он разорил дома и поджег избы. Избы горели многие годы. Дом как понятие перестал существовать. Когда кони скачут, избы горят. Мужики

скакали, а женщины входили в горящие избы. Отпала необходимость в мебели. Избы и сейчас горят: то там, то здесь. Пророческое слово Некрасова сбылось в общегосударственном масштабе.

Когда наши мужики окончательно перестанут скакать в табуне? Когда потушат избы? Когда научатся жить сегодняшним днем?

Завтра?

СТИЛЬ, СТИЛЬ, СТИЛЬ

Нет стиля, нет и человека. Бесстилье — страшный русский бич. Я не знаю, кто выдумал американскую военную форму во время второй мировой войны, но это была классная форма. В ней каждый солдат выглядел победителем.

Когда они высаживались в Нормандии, на них было приятно смотреть. Смотришь хронику: самому хочется быть американским солдатом. Простая круглая стильная каска с болтающейся застежкой, удобные штаны с заливашками карманами, гимнастерка, похожая на просторную блузу, красивый автомат, а ботинки — что за ботинки! В таких ботинках и умирать не страшно.

Американцы тогда всех забили по стилю: и слишком декоративных англичан, и чопорных французов, и фашистов в чересчур агрессивных мундирах, и наших солдатиков с медалями на всю грудь. Американцы и ковбоями были стильными, в своих ковбойских платках и шляпах, и солдатами оказались почти что от *haute couture*. Мне в Америке много чего не нравится, но стиль у американских мужчин — в крови.

Со второй мировой войны прошло полвека, а у нас ничего в смысле стиля государственно не изменилось. Смотришь чеченскую хронику и понимаешь: русские там не могли победить хотя бы потому, что не выглядели убедительно. Чеченцы умеют и повязку свою мусульманскую правильно

на лбу повязать, и оружие носят в руках красиво. А русская армия — одно стилистическое недоразумение. Особенно командование. Пузатые, неуклюжие. Какие-то косорылые. Если кто в очках, то очки — немыслимые, уродские.

Я уж не говорю про милиционеров. Поставших с разевшимися лицами. Бог шельму метит. С них только карикатуры писать.

А правительственная элита! Костюмы надели, а носки не сменили — в коротких, василькового цвета щеголяют. У нас вся коррупция — производное от этих носков. Воровство — знак бесстыльности. Или интеллигенция: о Джойсе-Борхесе рассуждают, а сами одеты, причесаны — совки совками. Разрыв между формой и содержанием? Но я не верю в бесформенное содержание. Денег не хватает? Да разве в деньгах дело! Американский ковбой тоже был небогатым человеком. А еще все удивляются, почему русские на Западе не «проходят», почему после краткой моды на перестройку все от нас отвернулось, «искусство» покупать перестали. Да потому, что мы выглядим смехотворно. И русские нищие экскурсии — курам на смех. И новые русские в своих малиновых пиджаках — тоже курам на смех. Одни недоодеты, другие — переодеты, но сущность та же — бесстылье.

Отсутствие стиля плодит неуверенность в себе и агрессивность. Русский во Франции стремится походить на француза, в Америке — на американца, в Венгрии — на венгра. Но что-то срывается, и злоба лезет. Достаточно посмотреть репортажи наших тележурналистов из-за границы. Или посмотреть на наших женщин, возвращающихся оттуда. Из Германии они все приез-

жают вылитыми (стрижеными) немками. Даже дух захватывает. Эта подражательность, при всей ее убогости, конечно, лучше, чем вообще ничего. Но ненамного.

Русского стиля сейчас нет, и это — катастрофа. От нее нас не уберегли ни Зайцев со всей своей «кляквой», ни патриоты в косоворотках, ни отечественный кинематограф.

Мы — не румыны и даже не украинцы: мы растеряли все свои фольклорные ритуалы. Вернуться к ним — нет сил, да и не надо. Дореволюционные прадедушки и прабабушки нам ничего не оставили в наследство, кроме одной-двух серебряных ложек. Мы — наследники совка, который на слово «стиль» дико косился в полном недоумении.

Придумать стиль из воздуха — невозможно. Русский человек и элегантность — понятия пока что несовместимые. Русский мужчина — за редкими исключениями — не умеет себя «продать». В нем всегда есть «не то».

Сейчас наступает время стилистического разрыва. Молодежь уже почувствовала вкус и силу стиля, и она отрывается от навсегда отставших стариков. Появляется первое поколение стилистически озабоченных русских. Получающих кайф от стиля. Включающихся в стиль. Отрыв будет болезненным, как и все в русской истории, но он не просто необходим. Это путь русского человека к себе.

ОПТИНА ПУСТЫНЬ И ГУБНАЯ ПОМАДА

Мой друг Попов сказал мне, что Оптиная Пустынь меня разочарует мерзостью запустения, он знает, он был там 15 лет назад, так что лучше туда и не ездить. Но я не послушал друга. В конце концов, думал я, Оптиная Пустынь — духовная гордость России, там в прошлом веке у святых старцев перебивали Гоголь, Достоевский, Толстой (он — пешком, и шесть раз!), а дырявыми куполами меня не испугать. Как не съездить хотя бы раз? К тому же красивое место, утопающее в сосново-дубовых лесах.

И в самом деле: оно утопает. Но, прежде всего, в строительных лесах. Мужской монастырь отстраивается в ударные сроки, возрождаясь из пепла, возводится высокая колокольня, «братская» жизнь бурлит, старческий скит пахнет липой и краской.

Душа русского человека ликует: никаких следов от ПТУ для местных недорослей, находившегося в святых стенах, никаких воспоминаний от концлагеря для пленных польских офицеров, расстрелянных позже в Катыни. Счастливое преобразование. Куча экскурсий. Паломники. Благодарь. На воротах молодой светский страж с платочками в руках: простоволосых женщин не пускают, на, возьми, накинь — и входи. Не пускают и в мини-юбках. «Это себя не уважать», — уко-

ризенно говорит страж, внимательно оглядывая загорелые ноги. Ноги заворачиваются первой попавшейся курткой.

Вхожу в собор. У совсем новенького иконостаса группа старшеклассников. Вместо экскурсовода — священник с могучей черной бородой. Говорит с напором. О главном.

— У тебя есть душа? — спрашивает парня с усами. Тот молчит.

— Или ты *неодушевленное* существо? — тонко играет священник словами. Филологическое шулерство, на которое ловятся старшеклассники.

— Одушевленное.

— Так где же тогда у тебя душа?

Парень смущен.

— Во рту.

Все смеются. Победив, священник быстро всех обращает в страх:

— На каждого заведена книга жизни. Кто получит в этой книге одни «двойки» — тот пойдет в ад.

Следует энергичное описание адских мук.

Ко мне, с вытянувшимися лицами, в пла точках, подходят две мои спутницы, калужские журналистки. Тетка — продавщица свечек — их отчитала за губную помаду. Сказала, что губная помада противна Богу и чтобы они не смели при падать губной помадой к иконам, не то им уготованы (опять-таки) вечные муки.

Боже, подумал я, что происходит? Под дыр явыми куполами наши *замученные* церковники ходили тише воды, а теперь, оживившись, первым делом переняли привычки партийных пас-

тырей. А как же христианская любовь? Тормоза, конечно, нужны, а всепрощение?

Когда же у колодца со святой водой меня отчитали за то, что я пролил несколько капель на землю, я окончательно решил, что в скиту перебарщивают по части строгости, и даже ухоженные клумбы с рыжими ноготками мне показались казарменной принадлежностью. Вокруг строевым шагом ходили холено-суровые отцы-священники.

В местном литературном музейчике гид с неудовольствием рассказала о том, что Толстой хотел общаться с Богом напрямую, без Церкви, отчего оказался отсохшей ветвью православия, что следовало из картинки, изображавшей отношения знаменитых гостей монастыря со старцами, упрекнутыми Толстого в гордыне.

Когда нынешних начальников Оптиной Пустыни спросили, почему на территории монастыря нет памятника польским жертвам концлагеря, они сказали, что это «светское дело» и они не хотят в него вникать. Кроме того, добавили начальники, это были люди чужой веры.

И все же я надеялся на чудо: на *детскую болезнь* чрезмерной строгости у калужского церковного начальства, недавних страдальцев за веру (отчего они вызывали симпатию у всех нормальных людей). Однако, зайдя в иконную лавку Оптиной Пустыни, я наткнулся на новейшее коллективное сочинение с призванной быть устрашающей черно-красной обложкой и не менее ярким названием «Дороги, ведущие в ад».

Из «Дорог...» я не только узнал о том, что компьютерные игры — «монстры для маленьких» (автором оказался один из бывших участников

самиздатовского альманаха «Метрополь»). Ругали рок, семейство Рерихов, Даниила Андреева, телевизор, Нирвану, карты, все подряд.

Что касается секса, то, строго по тексту «Дорог...», «православие совершенно однозначно считает: половая жизнь мужчины и женщины возможна только в браке, имеющем своей целью продолжение рода. Если брак существует лишь для услаждения похоти, он является греховным... Гомосексуализм и другие виды половых извращений (зоофилия, садизм, трансвестизм и прочие) — суть тяжелые грехи...»

*Я — девчонка-хулиганка!!!
Я гуляю и лечу!!!*

— Нельзя ли потише музыку? — попросил я официантку ближайшего от монастыря ресторана, где я ел на редкость вкусные зеленые щи с телятиной, и с интересом прочел резюме: «За грехи блуда, постыдные половые извращения, то есть за грехи против тела, неминуемо последует расплата — гнев Божий и смерть».

На протяжении истории православие свирепо билось с сексом, запрещая все, кроме «миссионерской позы» («Глазка вместе, а жопка наразно», — комментировал народ), при занавешенных иконах и обязательном снятии нательного креста во имя *исключительно* деторождения.

Хотя, если деторождение, зачем снимать крест?

Любая попытка эксперимента, включая *совокупление* более одного раза за ночь, наказывалась постом до 10 лет (вот истоки нашего стали-

низма). За мастурбацию — 60 дней поста, 140 ежедневных земных поклонов. В средневековой Руси при вычете религиозных праздников, менструаций, постных сред и пятниц (а также, в самые суровые времена, суббот и воскресений), на *удовольствия* отводилось не более 6 дней в месяц. Не эти ли все ограничения привели народ к мысли о том, что «много в пизде сладкого — всего не вылежешь»?

Христианство изнурило себя многовековой безуспешной войной с сексом. Бесполоая религия исчерпалась. Православие — лишь одна из *дверей* в вечность, а не единые кованые ворота для всего человечества. Узурпация монополии на истину в последней инстанции не выглядит богобоязненным делом. Смиритесь, праведники! Разыскивается новый Иоанн Креститель.

КТО БОИТСЯ ФРЭНСИСА БЭКОНА?

Наверное, Бэкон был самым крутым художником XX века. От него все шарахались, как от чумы. Первым шарахнулся бывший офицер британской армии, который, выйдя в отставку, занялся в Ирландии коневодством: когда Бэкону, родившемуся в Дублине в 1909 году, шел шестнадцатый год, отец догадался о его склонности к гомосексуализму и поднял скандал. Бэкон сбежал от семьи и отцовских коней сначала в Лондон, дальше — в Берлин, который в 20-е годы славился тем, что у него была дыра в том самом месте, где у других городов находится душа.

Нагулявшись вволю в Берлине, Бэкон рванул в Париж, пошел на выставку Пикассо (вдохновившего, видимо, всех художников XX века), где тут же решил, что он *тоже* будет художником.

В 1933 году Бэкон написал на холсте такое кощунственное «Распятие», что от него шарахнулась Церковь. Но он не раскаялся и добил ее тем, что написал целую серию портретов дико орущего Папы Римского, не то подражая Веласкесу, не то глумясь над испанским классиком.

Он писал свои картины на шершавой изнанке холста, которая казалась ему пригодной для изображения шершавой изнанки мира. Заработав денег, Бэкон обычно ехал в Монте-Кар-

ло, где балдел от рулетки. В зависимости от везения он спал в Монте-Карло то в самых шикарных гостиницах, то на пляже, укрывшись плащом. Домой возвращался нищим.

Когда Бэкон стал знаменитым художником, он и вовсе забыл о правилах приличия. Однажды в Лондоне его пригласили на бал в королевский дворец, где принцесса Маргарита мило выступила с пением популярных песен. Бэкон сунул два пальца в рот и на весь зал обсвистал принцессу. Его скрутили охранники. Бэкон отбивался от них, крича, что честность и эстетическое чутье не позволили ему поступить иначе: принцесса чудовищно фальшивила. Королевская семья навсегда вычеркнула Бэкона из списка своих порядочных подданных.

Бэкон не унимался. Он стал на своих холстах кромсать человеческие тела. Люди превращались в кровавые обрубки. Самое скандальное заключалось в том, что это были не абстрактные манекены, а его друзья, любовники, родственники. Деформация тел в основном носила эротический характер. Дошло до того, что в 1953 году Бэкон изобразил самого себя в странном зеленоватом цвете, занимающимся любовью со своим постоянным бой-френдом. Картина была объявлена порнографией и запрещена английской цензурой для показа на выставках на долгие годы.

То, что Бэкон делал с друзьями в своих картинах, иначе, как предательством, с точки зрения обыденной морали, назвать было трудно. Бэкон и себя изображал не самым лучшим образом, его автопортреты — уродливое, отталкивающее светскую публику зрелище. Он представлял

себя полным дебилом с перекошенной мордой, хотя в жизни был красивым мужиком, который до глубокой старости (умер в 1992 году) выглядел лет на двадцать моложе своего возраста. Но если с самим собой он волен был проделывать все что угодно, зачем же он изгалялся над лицами и телами дорогих ему людей? Он не писал карикатуры или шаржи, это было бы слишком банально, он словно рвал друзей на части зубами и выплевывал рваные куски на холст. Все просто-напросто охреневали. Многие никогда ему этого не простили. А те, кто прощали, не могли найти объяснения. Бэкон, как правило, не затруднял себя ответами. Вопреки живописным канонам, он писал портреты не с натуры, а с фотографий и как-то раз туманно признался, что, деформируя близких людей, он приближается к их сущности и извлекает энергию, в них заложенную.

Недавно в Париже прошла огромная ретроспективная выставка Бэкона, на которую съехалась вся Европа, люди стояли в очереди по нескольку часов. Дикий, немислимый хулиган от искусства был торжественно объявлен гением. Ему посмертно и заочно всё простили. Его в самом лучшем виде объяснили искусствоведы и самые модные культурологи. Он, оказывается, отразил муки нашего времени. Он, оказывается, был пацифистом. Он, оказывается, был борцом за свободу мужской любви. Он был, как выяснилось, *моралистом*, строго осудившим наше жалкое существование.

Все это так и вовсе не так.

Человек, в которого вступает синдром гения, по определению находится вне человеческих

дефиниций. Халтурщик, изображающий себя крутым, выглядит жалким халтурщиком. Средним людям по этикету предписано быть милыми, и от них ничего не ждут, кроме улыбки и порядочности, которая тоже сама по себе дефицитна, особенно у нас. Нужно ли бояться откровений Фрэнсиса Бэкона?

Бойтесь смелее! Не боятся одни дураки.

БОГ БАБУ ОТНИМЕТ, ТАК ДЕВКУ ДАСТ

Хорошо на Руси утешали вдовцов. Где-то там, в других странах, безутешные (блин!) рыцари обливались слезами, потеряв любимую жену, писали (блин!) навзрыд эпитафии, шли в монастырь, а наш мужик и не думал тужить. Он испытывал странное чувство облегчения, освобождения, ему открывались новые жизненные перспективы. Ну конечно! Русский Бог — добрый. Он ему сладкую *девку* даст. Нет ни одной народной культуры в мире, где бы так цинично относились к женщине, как было заведено у нас. Все это в генах живет до сих пор.

Когда-то Ленин верно заметил, что в России есть две культуры: дворянская и «наша». Дворянская культура не жалела сил, чтобы поднять статус русской женщины. Гениальными стихами и прозой Пушкин и Тургенев, Тургенев и Пушкин вбивали в русские головы, что женщины выше, честнее, благороднее мужчин. Некрасов изобразил декабристских жен идеалом национального характера. Толстой, Достоевский, Чехов — да все *они!* — вознесли женщину на пьедестал, но она там почему-то не устояла.

«Наша» культура оказалась сильнее. Она не была такой многословной, велиречивой, но пословицы выдали ее сущность, говоря сами за себя. Пословицы раздавили женщину как человека. Она стала предметом насмешек и унижения. Она

потеряла вдобавок и статус женщины. Она превратилась в *бабу*, то есть определилась презрительным словом, непереводаемым на большинство иностранных языков.

Весь корпус русской народной мудрости пропитан издевательским женоненавистничеством. Бабе полностью отказано в уме. «У бабы волос долог, да ум короток», — поучает пословица. Бабе отказано в честности: «Баба бредит, да кто ей верит». Бабе отказано в сострадании: «Баба плачет — свой норов тешит». Баба хуже, чем собака: «Собака умней бабы: на хозяина не лает». Место бабы — изба: «Знай, баба, свое кривое веретено».

Поразительна порой ничем не объяснимая жуткая злоба в русских пословицах: «Скачет баба задом и передом, а дело идет своим чередом». Бабе отказано и в какой-либо значительности ее суждений: «Сердилась баба на торг, а торг про то и не ведал».

Что касается бабьих страстей, то и тут нет пощады: «Бабье сердце что котел кипит». И никакой пощады по отношению к стареющей бабе. Ей и так невесело стариться, получай же в лоб приговор: «Сорок лет — бабий век». Хотя имеет место и русский, с оттяжкой, волюнтаризм: «Сорок пять. Баба — ягодка опять». Но дальше не задерживайся — помирай: «Пришла смерть по бабу, не указывай на деда».

Мужик *важнее* бабы, и он этим может гордиться: «Не стать курице петухом, не стать бабе мужиком». Но петух способен превратиться в курицу. Вялого, дрянного, робкого, бестолкового мужика на Руси традиционно принято дразнить бабой: «Эка баба, что нюни распустил!»

Бабу надо бить. Так велит русский этикет. Чем сильнее — тем лучше, для нее же самой: «Бабу бей что молотом, сделаешь золотом». Если с бабой что-либо случится — не жалко: «Баба с возу — кобыле легче». А ведь это, в самом деле, смешно сказано. Остро. Талантливо. Вот такой у нас в народе талант-самородок. Ну, и венчает всю эту мудрость великое слово, опять же про курицу: «Курица не птица — баба не человек».

Кто же она тогда?

«Наша» культура пожимает плечами. Она не достаивает никого ответом. Пословицы кончились — началось хамство.

В советские времена «наша» культура налилась особым соком. Она стала блатной и в этом качестве — соблазнительной для многих русских независимых умов. Женщине в блатной культуре указали на ее *низкое* место.

Я знаю, от какого наследства надо отказываться. Я знаю: от этого наследства отказаться будет непросто. Дворянскую культуру не вернуть — демократия не позволит. Что же делать тогда бедному русскому плеябою, решившему приобщиться к тому, чего в наших краях не бывало?

Что делать?.. что делать?..

Может, для начала купить цветы и презерватив?

Хотя, с другой стороны, иногда действительно со смехом понимаешь: «Баба с возу — кобыле легче».

DON'T COMPLAIN ЗНАЧИТ «НЕ ЖАЛУЙСЯ»

Я никогда не любил Север, тем более Крайний, мне и в Москве хватает холодов, но уломал приятель, энтузиаст полярных сияний, и мы поехали — на край земли, на самую северную точку Европы, Норд Кап. И там, в Норвегии, у черта на рогах, я неожиданно для себя влюбился, причем, казалось бы, в полную ерунду — в дерево. Причем даже не в конкретное дерево, а в *породу* этого дерева. Так, наверное, в начале века студенты-недоучки влюблялись в пролетариат.

Стыдно признаться, но я влюбился в национальный символ, не Норвегии, а России. Я от этого символа всегда держался в стороне, просто потому что меня от него воротило, он был везде и во всем, от букваря до Сандуновской бани. Угадайте с трех раз. Ну, понятно, береза.

Как меня угораздило? Мы выехали из Хельсинки на мини-автобусе и поехали прямо по меридиану наверх, за полярный круг, через Лапландию, на берег Ледовитого океана. В Хельсинки было жарко, финны дули пиво, природа распарилась: цвели рододендроны, как будто на юге. Но чем выше мы поднимались по карте, тем строже становились растения. Началась игра на выносливость. Сначала сошли с дистанции, как сходят уставшие бегуны, легкомысленные лиственные породы, вроде лип и тополей. Дуб, несмотря на всю свою кряжистость, тоже долго не выдер-

жал — выбежал из поля зрения. Олени сменили лосей, как на дорожных знаках, так и в жизни. За полярным кругом все оставшиеся деревья резко уменьшились в росте. В полях цвел король московских помоек — лиловый иван-чай. Из лиственных пород остались малорослые осины и березы.

Затем, как по команде, все деревья покрылись мхом. Мы ехали через топи, мелкие золотые прииски, в деревенских ресторанах кормили медвежатиной. Солнце перестало заходить. Начался сплошной бурелом. В полосе бурелома пропали осины, ближе к тундре исчезли сосны. Исчезли также и сауны — мы переехали финско-норвежскую границу, а норвежцы саун не любят. Два инвалида, сидя на стуле возле флага, изображали из себя пограничников. После границы из деревьев остались только елки да березы.

Елки стояли худые, ошипанные, а березы переродились: превратились в березовый кустарник, стволы искривились, стали коричневыми, с жилистыми кулачками. Они росли вдоль безупречной шоссейной дороги, идущей по вечной мерзлоте, и вокруг темно-красных домов норвежских крестьян, на окнах которых висели лампы на случай будущей полярной ночи.

Наконец мы выехали к фиордам океана, к светлым пляжам с плоскими камнями, к воде цвета рассеянных близоруких зеленых глаз. Косо светило солнце — было за полночь. Июльский арктический ветер дул такой, что сносило с ног. Наутро ветер поутих, я пошел вдоль скал к океану. И в расселинах я увидел карликовые березы. Они победили — никаких прочих елок больше

не было и в помине. Они, казалось, не росли на одном месте, а ползли по-пластунски, минуя нерастаявшие островки летнего снега, к земному пределу.

При этом они пахли. Но как! Они пахли так, как будто пели во весь голос, на все побережье, на всю арктическую Ивановскую. Березовый воздух был сильнее праздничного церковного елеса. Тут я понял, что — все: я влюбляюсь. Я влюбляюсь в карликовые деревья, которые живут и *не жалуются*.

Ну, это особая тема. Я не знаю ни одной страны, где бы так много жаловались на жизнь, как в России. Начиная с вопроса «как дела?» и кончая расспросами более тонкого свойства, в ответ получаешь целые грозди жалоб — на власти, здоровье, погоду, отцов и детей, друзей, войну и мир, самих себя. В России жалуются, скорее всего, потому, что люди у нас слабее обстоятельств. Так почему бы нашим мужчинам не позаимствовать зарубежный опыт норвежских карликовых уродок? Их не заела арктическая среда. Не знакомые с англо-американским кодексом чести, они существуют согласно его положению: *don't explain, don't complain* (не оправдывайся, не жалуйся). В общем, живите, как эти березы.

МОЙ ДРУГ, МАРКИЗ ДЕ САД

По России бродит призрак маркиза де Сада. Но никто, кажется, толком не знает, зачем он бродит и какой от него толк. Даже эротически многоопытный Виктюк не знает. Я посмотрел его постановку «Философии в будуаре», сделанную по роману Сада. Дальше милой эстетизации садизма с голубой, как это у него водится, каемочкой режиссер не пошел, не получилось, и во мне встрепенулся давнишний садовед. Саду я многим обязан. В 1973 году я протащил через советскую цензуру свою статью о Саде, наделавшую тогда много шума. Сад дал мне литературное имя. Теперь настала пора мне защищать репутацию любимого мною французского призрака.

У нас в России для садистов рай. Российская государственность исторически обеспечила им счастливое существование. Она обесценила человеческую жизнь, создала систему подавления, всевозможных запретов, ханжеской морали. Несостоявшиеся садисты становятся жертвами садизма, но, дай жертвам власть, они тоже станут садистами. Садизм вырабатывается в неограниченном количестве, как слюна, садизм идет валом. Садюга — русское ласковое слово. Я такой другой, действительно, не знаю, где так сладко умеют унижить, где бы женщин столь сильно возбуждала перспектива насилия, а мужчины столь наивно путали половой акт с дракой. По степени бытовой, будничной агрессивности, от троллей-

буса и детского сада до воспаленного парламента, мы не знаем себе равных, всех превзошли.

Иллюзия равенства наилучшим образом творит подлинную власть запретного неравенства. Иллюзия духовности ведет к лихорадке мастурбации, жертвой которой стал, среди многих прочих, неистовый Виссарион Белинский (это биографический факт).

Самопознание русского человека исчисляется отрицательными величинами. Внутри себя он видит неизменно прямо противоположное самому себе, и об этом *другом* он слагает поэмы, ставшие гордостью мировой культуры. Даже материализм в нашей стране был воспринят как высшая стадия идеализма.

Такой стране, как Россия, маркиз де Сад просто необходим. Его можно было бы прописать как микстуру. Кому-то от этой микстуры станет совсем дурно. Что ж, будем скорбеть, сожалеть, соболеznовать, если найдется время. Кто-то вообще никогда ничего не поймет. Это в порядке вещей. Но людям с задатками свободных идей несколько полегчает.

Сад (кстати, вот годы его жизни: 1740—1814) никого не хотел ни лечить, ни учить. Он стал и по жизни, и тем более в книгах самораскрытием страсти, не знающей своей логики, но творящей ее с неизменным постоянством. Сад — не доктор и не пациент. Он — писатель, то есть вольнослушатель некоторых словесных истин. От многих других его отличала настойчивость. Он мог остановиться на уровне гедонизма, но был, очевидно, увлекающейся натурой и улетел в запретные сферы, недопустимые в культуре жизне-

устройства. Однако, если культура не вмещает в себя Сада, она превращается в заговор с целью скрыть *человека* от человека.

Видимо, прав был французский философ-садовед М.Бланшо, утверждавший, что нельзя «привыкать к Саду». Вместе с тем, сюрреалисты не зря называли его «божественным маркизом», «освободителем». Они ссылались на неожиданные для легендарного «садиста» слова: «Мое перо, говорят, слишком остро, я наделяю порок слишком отвратительными чертами; хотите знать почему? Я не хочу, чтобы любили порок... Несчастье тем, кто его окружает розами!»

Лукавство? Пусть!

Культура должна пройти через Сада, подбирая подходящие слова для раскрытия эротической стихии. Лишь при условии свободного владения языком страстей чтение Сада станет не столько порнографическим откровением, занятым самим по себе, сколько преодолением болезни немоты, которая сковывает «смущающуюся» культуру.

Глядя, как дружно идет человечество по пути философии наслаждения, видя неисчерпаемость российского садизма и задубелость его мазохистской изнанки, я радуюсь, что маркиз де Сад не устареет и в XXI веке.

СЕКС КАК СПОРТ

Раньше было проще. Раньше все сводилось к тому, чтобы ЕЕ победить. Или, как еще раньше, совсем давно, говорили: ЕЮ овладеть. Но если я говорю, что раньше было проще, это не значит, что победа давалась легко. Напротив, те, кто жили активной половой жизнью тридцать лет назад, хорошо помнят, что они побеждали буквально в рукопашном бою.

Девушка сдавалась по кускам. Сначала овладевали рукой. Это называлось «взять за ручку». Сердце замирало — позволит ли? А если позволяла — Боже, какое счастье. Так и ходили «за ручку» — счастливые, как в советском кино. Потом овладевали лицом. Это значит, что начиналась драка за поцелуй. Девушка стискивала зубы так, словно она была не девушкой, а бульдогом. Разжать ей челюсти не было никакой возможности, даже если намечалась большая любовь. Приходилось действовать хитростью, используя навыки психологической войны. Первый поцелуй оказывался почти всегда поцелуем врасплох: ОНА отвлеклась, увлеклась, разговаривала о чем-нибудь для НЕЕ важном, существенном, например о том, как ОНА в первый раз купалась в Черном море — ЕЕ раз и — поцеловали в губы. ОНА — пихаться, толкаться, кусаться — но поздно, и дела уже назад не вернуть. Потом наступал черед «коленки». За ручку можно — а за коленку нельзя. Логика во всем этом была всякий раз железная.

Затем, пройдя еще целый ряд жизненно важных этапов, начиналась основная борьба с раздеванием. Она затягивалась на долгие часы и, как правило, сопровождалась серьезной порчей одежды. Когда же измученная, истерзанная, на последнем издыхании от яростного сопротивления, девушка, как это называлось, отдавалась, на секс ни у кого не хватало ни сил, ни умения.

Секс долгое время оставался в России любительским занятием. Мужчины считали свои победы, а девушки — свои промахи. Но и те, и другие, за немногими исключениями, так никогда и не смогли овладеть даже азбукой половой жизни. Во всем, что хоть как-то отличалось от привычной позы, виделось извращение. Об извращениях рассказывалось с вытаращенными глазами. Судя по скудным данным, в основном вращавшимся вокруг геникологии, люди имели самые убогие представления о своих эrogenных зонах, впрочем, даже и не зная, что они именно так называются.

Мне позвонил милый беллетрист-шестидесятник:

— Слушай, я обзвонил всех «наших» (он назвал известные имена) — никто не знает. Что такое, язык сломаешь, куннилингус?

— Действительно, язык сломаешь...

— Ах, *это*?! — смутился он.

Было ли от этого их поколение несчастным? Кто знает! Понятие счастья в нашей стране остается непредсказуемым.

В начале 80-х годов наметился (еще до всяких политических перемен) процесс женской сексуальной эмансипации, который, в конечном счете, поставил многих наших мужчин в доволь-

но неловкое положение. Устойчивая роль победителя у мужчины постепенно была отнята. Женщины если и не научились делать выбор заранее, то по крайней мере обзавелись достаточным количеством шуточек-прибауточек и разгадали мужскую игру. Вот этого мужчины и не ожидали, к этому не были готовы.

Вся новизна началась, пожалуй, со словечка ЕЩЕ. Казалось бы, что может одно слово изменить в половой жизни, но оно изменило отношения. Если в 70-е годы слово «трахаться» стало знаком грядущих перемен, то ЕЩЕ, слетевшее с женских губ и все чаще раздающееся в ночной тишине, оказалось требованием не столько даже времени, сколько женщин. Они захотели дополнительных удовольствий, не предусмотренных в русском мужском прейскуранте.

И мужчина, надо сказать, от одного этого ЕЩЕ пришел в неприятный трепет. ЕЩЕ означает: мало и не то. ЕЩЕ означает: не умеешь — не берись, и еще того хуже: ты — не мужик. Мужики растерялись. Раньше они судили, сопоставляли, сравнивали и веселились. Теперь стали судить их.

И теперь уже не важно, кто с кого стаскивает трусы. Даже если этот процесс по-прежнему отчасти контролируется мужчиной, он не контролирует результат. Он может нарваться на ЕЩЕ, сказанное любящими губами, как на предвестник разочарования. Наконец, женщина перестала бояться слова «извращение» — и тем самым вконец испугала многих мужчин, потянувшись к тому, о чем они когда-то разговаривали между собой только в мужской бане.

— В попку! В попку! — запросились интеллигентки.

— И поглубже! — раздвинула ягодицы культурологическая блондинка.

Народ не узнал сам себя.

Секс из любительской игры превращается в профессиональный спорт. Победит ли российская женская сборная мужскую, сказать трудно, но надо признать, что на пороге оргазма женщины научились произносить слово ЕЩЕ твердым голосом.

СМЕРТЬ ПИСАТЕЛЯ К.

Плейбои тоже смертны, и если мне скажут, что смерть — не плейбойская тема, я повторю то, что я только что сейчас сказал. Впрочем, речь пойдет не о смерти плейбоя. Вернее, нет, в молодости он все-таки был плейбоем, или хотя бы отчасти. Много лет назад, когда мы с ним познакомились, я часто видел его в мастерской двух веселых полуавангардистских скульпторов, с гитарой в руке, поющим слегка неприличные песенки в окружении бутылок и женщин. В том кругу заниматься сексом называлось *оказывать скорую помощь*, и он тоже, кажется, ее нередко оказывал. Они срывались резко — и исчезали, хохоча, вместе с женщинами, а я ехал на троллейбусе домой — я был для них еще маленьким.

Потом все переменялось. Писатель К. (назовем его так), который вступил в мутные воды отечественной литературы лет на десять раньше меня, усомнился в своем плейбойском призвании, а может быть, оно никогда и не было его призванием. Он как-то не то что замкнулся в себе, не то что уединился, но задумался о правде и добре, как, может быть, и полагается русскому писателю. Он меньше стал ходить по мастерским, а больше — в лес, за грибами, за свежим воздухом, за свежими мыслями. Он сам посвежел и стал чуть ли не розовощеким, с мягкими приятными глазами.

А тут в литературе, вообще у нас в культуре, где-то на излете 70-х годов, произошло размежевание: одни пошли навстречу Ядреной Фене — так назывался один из моих ранних рассказов, — то есть навстречу, если хотите, словесной вакханалии, может быть, даже наркомании зла, а другие — мои же сверстники — решили прижаться скорее к добру, к идеалу.

Среди последних оказался и писатель К. Он был талантливым человеком, и, наверное, не зря нашел себя в детской литературе, потому что в детской литературе быть добрым писателем необходимо по определению.

И так возникли параллельные жизни в культуре, никакого соревнования, в сущности, не было, но возникло противостояние и в связи с этим очень много всяких моральных проблем. Писатель К. никогда не писал обо мне, что я сатанист и порнограф, как это не раз случалось с его товарищами по доброй литературе, но, по-моему, в душе он был заодно с ними. Когда мы с ним все случайней и случайней встречались, он радушно выбрасывал вперед свою теплую руку, но в глазах у него было все меньше и меньше радушия, и никакой радости от встреч он не испытывал. При этом он действительно был замечательно талантлив, и когда мое поколение родило детей, то за редкими исключениями все читали детям его добрые книжки, и дети становились его горячими поклонниками, и требовали еще и еще.

Впрочем, как-то раз, в предбаннике ЦДЛ, он изменил своей привычке быть равнодушным к нашей встрече и даже похлопал меня по плечу,

и мы вспомнили мастерскую и даже немножко — ну не всплакнули, но растрогались. Но, по моему, в его неожиданном поведении, во-первых, было что-то несомненно ликерно-водочное, а во-вторых, даже несколько корыстное, потому что он потащил меня знакомить с какой-то красивой молодой дамой, а та, кажется, была моей благосклонной читательницей и, одновременно, мечтой его жизни.

Теплая встреча ничего не изменила по существу, и, когда нам снова довелось встретиться, писатель К. посмотрел на меня совсем холодно. Он во мне больше не нуждался. Однако подлая жизнь поставила нас еще раз в странные отношения. Во время перестройки детские книжки вышли из моды — во всяком случае, издательства перестали их печатать в прежних объемах, и вообще вся литература добра провисла. Зато русский постмодерн оказался созвучен каким-то всемирным настроениям, и его стали печатать повсюду, и меня тоже.

Сатанисты купили себе машины, а добрые писатели продолжали ездить на метро. Сатанисты изъездили мир и увидели многое, а добрые писатели продолжали ходить в лес по грибы. Казалось, божественной справедливости настал конец. В конце концов, писатель К. попросил некую писательскую комиссию выделить ему пособие по бедности, и, по моему, ему было не по себе, когда он узнал, что я тоже член этой комиссии. Он, естественно, получил пособие, но сама просьба о пособии уже задела и меня — в плане философском. И мне захотелось вызвать его на *мужской разговор*, но только так, чтобы он

не обиделся, и с ним как-нибудь объясниться, и рассказать ему, что... поделиться... да вот только чем?

Есть смерти, которые не укладываются в голове. Есть люди, которые не должны умирать. Писатель К. недавно умер. Неожиданно. Вдруг.

Он шел наперекор времени. А мы, выходит, плывем по течению? Или как?

КОЗЛЫ

У нас в России как-то так получилось, кого ни возьми, все — козлы:

Начальство — козлы.

Подчиненные — козлы.

Демократы — козлы.

Коммунисты — козлы.

Интеллигенция — козлы.

Молодежь — козлы.

Рабочие — козлы.

Новые русские — козлы.

Пенсионеры — козлы.

Ученые — козлы.

Крестьяне тоже, конечно, — козлы.

В армии — одни козлы, от солдата до генерала.

Президент, ясное дело, — главный козел.

Все это несколько настораживает. Похоже на эпидемию. Получается, мы живем в совершенно козлином государстве, где большинство из нас оказываются дважды и трижды козлами, совмещая разные козлиные роли. Раньше все-таки не все были козлами. Например, делалось исключение для космонавтов. Вряд ли бы кто-нибудь назвал Гагарина козлом. Но теперь и космонавты стали козлами. И поэты — тоже козлы. И популярные певцы, в основном, — козлы. Даже иностранцы в России, до недавнего времени привилегированная публика, тоже стали козлами, не лучше, не хуже местных.

С другой стороны, многие покойные исторические личности России, вроде Ленина, — тоже вышли в разряд козлов. У нас козлиное прошлое. Козлиная обстановка сложилась и на половом фронте. Если иметь в виду, что немалое количество русских женщин считает всех русских мужчин козлами, то положение еще более усугубляется, и, следовательно, все, что происходит в России, — закономерно.

Козел — вонючее слово, крепкое ругательство, посильнее иных матерных слов. Возможно, оно самое распространенное русское ругательство на сегодняшний день. Оно не знает возрастных границ. Даже воспитанники детских садов употребляют его.

Если мужское население страны подпадает под козлиную статью, с нами и надо поступать, как с козлами. Во-первых, козла совершенно нельзя любить. Не за что. Только извращенцы, безумные в своих фантазиях зоофилы, любят козлов. Во-вторых, к козлу нет никакого почтения. Наконец, козла не жалко зарезать. Козел — не друг человека. Козлиной песнью называлась у древних греков трагедия. А это значит, что у нас в стране не будет никакого будущего. У козлов нет будущего. С этим трудно спорить.

Не усомниться ли, однако, в изначальном тезисе? Ругательство — еще не кличка. Хотя и козлы, но мы — козлы в кавычках, то есть исключительно в метафорическом смысле. Но это малоутешительно, поскольку метафорический козел протух духовно, что тоже скверно.

А можно ли с достаточным правом утверждать, что мы — не козлы? Какие доказатель-

ства своей некозлиности мы готовы привести нашим подругам и женам? Кто в глубине души не обзывал себя козлом? Не казнил себя за козлиную принадлежность? Козлиное самосознание есть в каждом из нас. В этом корень вопроса. Козел хочет всех других видеть козлами. Иначе ему обидно.

Есть ли какой-нибудь достойный выход из создавшейся ситуации?

Мы — народ-богоносец, любящий шаманские заклинания. Мы должны собраться всем миром, молодежь и милиционеры, коммунисты-пенсионеры и новые русские, и запеть:

Мы — не козлы.

Козлы — не мы.

Это нужно повторять до бесконечности, под соответствующее музыкальное оформление, в стиле рэп. Или под там-там. Тише и громче, быстро и медленно, задумчиво и бездумно, но, главное, чтобы всем было весело:

Мы — не козлы.

Козлы — не мы.

Тогда все будет в полном порядке.

МЕЖДУ КРОВАТЬЮ И ДИВАНОМ

Чехов остается до сих пор одним из самых *темных* писателей русской литературы. Его тайна в том, что он всех устраивал.

Он устраивал красных и белых, модернистов и консерваторов, атеистов и церковников, моралистов и циников. Больше того, Чехова охотно принимают два традиционно непримиримых течения русской мысли: западники и славянофилы. В этом отношении Чехов поистине уникален.

Не потому ли, что он гибкий, как ветка ивы? Нет, он не гибкий. Совсем он негибкий.

Даже в самые жесткие сталинские времена тексты Чехова не попадали в литературный ГУЛАГ, в котором перебивали и «Бесы» Достоевского, и религиозные трактаты Толстого и Гоголя, и эротические стихи Пушкина. Строжайшие теоретики социалистического реализма предлагали Чехова в качестве образцового писателя, гордились им как врагом мещанства и другом Горького.

В то же время многие диссиденты после сталинской эпохи ссылались на Чехова как на учителя жизни, писателя, помогшего осознать им весь ужас, всю ложь советской власти и дать им силы в нелегкой борьбе с режимом.

Если отступить назад, в дореволюционный период, то и там видно гармоническое приятие Чехова различными литературными партиями.

Философ Лев Шестов приветствовал Чехова как певца отчаяния и — что было весьма великодушно для этого разоблачителя ложных ценностей — не подозревал его в моральной лжи, в чем подозревал, например, Достоевского. На Чехова ласково смотрели Мережковский и Розанов, и даже крайние течения русского авангарда, вроде футуризма, не очень стремились «сбрасывать его с парохода современности».

Балуют Чехова и за границей: много и рано стали переводить повсюду, на десятки языков, восхищаются стилем, лаконичностью, импрессионизмом, ненужными (*вроде бы*, а на самом деле нужными) подробностями — кто чем. Ставят высоко, наряду с самыми великими. В чеховских драмах находят зачатки театра абсурда. По Чехову учили русский язык несметные поколения славистов.

В общем, всеобщий любимец.

Писатели моего поколения его тоже приветствуют.

А не так давно ценители ненормативной лексики и циничных высказываний были очарованы Чеховым, когда в «Литературном обозрении» были опубликованы «эротические» чеховские письма, до сих пор не публиковавшиеся (все-таки был и у Чехова свой маленький эротический ГУЛАГ). В этих письмах Чехов выступает как знаток и любитель сексуальной жизни, хвастается своими похождениями в Японии и на Цейлоне, сообщает подробности или просто-напросто рассуждает о том, как трудно заниматься любовью на диване — на кровати куда удобнее.

И когда я прочел это замечательное суждение о кровати и диване, написанное легко, иронично, с привкусом цинизма, я подумал о том, почему Чехов велик.

Потому что он говорит правду. Действительно, как он пишет, «тараканить» женщину на кровати удобнее, чем на диване, который то слишком мягок, то слишком узок, в общем одни проблемы.

Сообщение это не несет особенно новой информации. О преимуществах кровати перед диваном знает любой славянофил и западник, о них знают как во Франции, так и в Аргентине, и с Чеховым все готовы согласиться.

Но одно дело согласиться, а другое — подметить и написать самому. Не хватает ни стиля, ни просто таланта. Другим же писателям жаль на это время. Они заняты высказыванием парадоксальных мыслей, они предпочитают утверждать, что спать с женщинами на диване удобнее, чем на кровати, и это уже совсем никому не понятный постмодернизм или еще что-нибудь более загадочное.

Они заняты, а Чехов — свободен. Он — свободный писатель. Он свободен говорить о любой банальной вещи.

Когда-то он меня удивил, рассказав кому-то в письме, что может написать рассказ о чем угодно, хотя бы о пепельнице.

И очень жаль, что он его не написал. Это был бы еще один из лучших чеховских рассказов.

Он бы, наверное, написал о том, что пепельница служит для стряхивания пепла, что она удобнее в этом смысле, чем унитаз, где плавают и никак не могут потонуть окурки.

И все бы сказали: как верно! Как верно замечено! И те же славянофилы, и западники, и французы, и кто угодно согласились бы с Чеховым, потому что трудно не согласиться с этим. Так же трудно не согласиться с тем, что мещанские идеалы скучны, тошнотворны и неискоренимы, что в степи нет тени, а в лесу она есть, что тщеславные люди пошлы, а пошлые — тщеславны, что есть женщины с хищной красотой, а есть приятные дамы с собачкой, у которых неинтересный провинциальный муж и которые едут на курорт и случайно спят с почти незнакомым мужчиной, причем на кровати им спится удобнее, чем на диване, но все равно они *после* устраиваются и сидят за столом с лицами грешниц, а почти незнакомые мужчины посторгаистично едят арбуз с удовольствием.

Как верно! Как правильно! Как скучно и сладко жить!

Но с другой стороны: иногда так хочется кого-нибудь «оттараканить» именно на диване, наплевав на кровать и на Чехова.

ГЕРОЙ НАШЕГО СУПЕРВРЕМЕНИ

(Никита Михалков)

Герой-дуплет.
Герой-любовник.
Герой-компьютер.
Герой-гутен-морген.
Герой-гражданской-войны.
Родимчик.
Герой-халтАй.
Герой-наладчик.
Герой-денежный-знак.
Герой-Советского-Союза.
Сметана-дня-дед-мороз-чиж-круп-а-темный-

глаз.

Герой-собачка.
Герой-шалфей-божий-раб-в-небесах.
Герой-рукосУй-рукосУй-и-пунцОвка.
Герой-пистон-отскочить-офицер.
Герой-примочка.
Герой-ботАло.
Герой-рвать-нитку.
Герой-материал.
Герой-могила-шары-чертогон-начинка-ма-
шинка.

Герой-герой-в-себе-вне-себя.
Герой-серый-барин.
Герой-мокрый-гранд.
Герой-марафет.

Герой-лоб-в-лоб.
Герой-копилака.
Герой-кадет.
Друг цензуры.
Герой-чудо-воин.
Герой-богатырь.
Герой-очко-самородок-замшелый-канал-пас-
сажира-готовить-звонок.
Герой-рыжие-бока.
Герой-с-прозвОном.
Герой-бабка-хруст.
Герой-щупать-ноги.
— Летайте, зрители.
Герой-не-твоего-Тиронтино-романа.
Герой-не-цинк.
Герой-верняк.
Герой-vino-rosso-будь-здоровчик-жиган-caz-
zo-russo:

— Пехайте вашу рогатину в бабью теля-
тину!

Герой-понЕс.
Герой-буфет.
Герой-по-тИхой.
Герой-суфлер.
Герой-нутрЯк.
Герой-нечем-крыть.
— Летайте, зрители, выше своего супервре-
мени.

ГОЛЫЙ ПЛЯЖ

Зима любит душу, а лето — тело. Во всяком случае, от тела летом никуда не деться, оно выпирает и заголяется, заявляя о своих правах. Поскольку уходящий век уничтожил множество табу, тело добилось своего освобождения и заявило о себе как о модной теме. О нем слагают песни, его раскрашивают художники. Те же, кто не умеет ни петь, ни рисовать, потянулись на голые пляжи.

Голый пляж дает не меньше пищи для размышлений, чем музей восковых фигур. Прошлым летом я посетил несколько таких «музеев»: в Калифорнии, на итальянском острове Эльба, в берлинском пригороде на Ваннзи и, наконец, в бывшем русском Крыму.

Обнажение тела есть, в сущности, обнажение культуры, каждая культура раздевается по-своему. Так, американцы, обнажаясь, начинают гораздо больше шутить, чем они это делают в одетом виде, и вспоминают все те анекдоты, которые когда-то слышали в школе. При этом они не теряют своей деловитости и очень подробно натирают себя кремом против ожогов, что не мешает им в конце концов обгореть самым безобразным образом. Тогда они показывают друг на друга пальцами и хохоча говорят, что они стали *красными, как лобстеры*. И хотя это шутка, они в самом деле напоминают лобстеров — из «подтаявшего» по краям на солнце пластилина.

На острове Эльба, что вовсе не похож на каменистую пустыню, которая рисуется воображению при воспоминании о ссылке Наполеона, а представляет собой субтропическую оранжерею с роскошными пляжами, нудисты захватили самый экзотический пляж среди скал. Итальянский голый человек, кем бы он ни был, мужчиной или женщиной, по своей натуре *показушник*, и он/она делает так, чтобы его/ее видели во всей красе, во всем развороте и восхищались. Итальянские гениталии обоих полов источают чистейшую влагу Высокого Ренессанса. При этом, в отличие от американцев, итальянцы не обгорают, а покрываются таким ровным загаром цвета швейцарского шоколада, что их нельзя не хотеть съесть.

Ваннзи — озеро славных традиций. На его берегах в 1943 году прошла знаменитая конференция нацистской элиты, где была принята программа окончательного истребления евреев. А уже через два года, в победоносном 1945-м, Ваннзи было переполнено немецкими трупами. По свидетельствам очевидцев, русские солдаты тут же ловили рыбу, а американские — почему-то не ловили, но зато катались на парусных лодках. Каждому — свое.

Теперь в Ваннзи трупов нет, и утонуть в озере очень трудно, потому что немецкие спасательные команды такие эффективные, что они начинают спасать людей еще до того, как те начинают тонуть. Поскольку у немцев все упорядочено, голый пляж у них доведен до совершенства, и на нем хорошо видно, кто есть кто и с какими ценностями мы покидаем XX век.

Они лежат рядами, штабелями, как бревна, подставив рыжевато-веснушчатые тела далеко не

итальянскому солнцу. У немцев давнишняя культура нудизма, им не надо шутить, раздеваясь. Но если присмотреться, то «бревна» все-таки разные и выделяется несколько категорий.

Преобладают семейные добродетели. Голые папы с голыми мамами играют в песочек с голыми детками. Эти голые детки никогда не будут интересоваться человеческой анатомией, потому что они ее выучили еще до школы, и голая женщина для них то же самое, что голая коза или голая рыба.

А вот голая мама играет в бадминтон с голой пятнадцатилетней дочкой — эта игра их сближает, ветер сдувает волан, но в этой игре они отнюдь не одни.

На них усиленно взирает иная категория посетителей голого пляжа — разновозрастные мужчины с отличительной особенностью: темными очками. Это *вуаёры*, те, кто подглядывают. В отличие от простых «бревен», они (это в общем-то радует) интересуются анатомией, что и видно. Кстати, о «видно». Категорию *вуаёров* дополняют их единомышленники с противоположным знаком: эксгибиционисты. Мужского и женского пола, их можно быстро определить потому, что они лежат беспокойно: все время крутятся и переворачиваются, как будто на сковородке. При этом заглядывают вам в глаза, жалостно и зазывно одновременно.

Если у берега ящик с пивом, значит, рядом молодежная компания. Они — тоже не совсем «бревна». Они пришли на пляж, разнополые, позабавиться своими телами. Среди них почему-то никогда нет красавиц.

Гомосексуалисты, бритые, как новобранцы, с серьгами, любят парами стоять в воде по шейку. Из воды выходят неохотно.

Профессиональные нудисты (их не так много) видны даже не по загару, а по выгоревшим волосам на руках, ногах, голове. Они так натуральны без одежды, что кажутся одетыми в комбинезоны.

Много одиноких женщин. Без определенного возраста, все, как одна, в очках с диоптриями, они лежат на животе и читают, читают. Эти читательницы убеждены, что они никого не ждут, но подсознательно они ждут своего Годо, который однажды выйдет из пены Ваннзи. Стоит же им натянуть хотя бы трусы, как они становятся постройнее, попривлекательнее.

«У нас в Германии в последнее время стены тюрем стали делать прозрачными, не то что у вас в России, — сказала мне молодая берлинская славистка в рассуждении о голом пляже, — но стали ли заключенные от этого счастливей?»

Так что же, они от этого стали несчастней? Просто отмена любого табу, включая табу на голое тело, снимая одни проблемы, порождает другие. Есть некое равновесие проблем, которое и формирует жизнь человечества. И все ж прозрачная тюрьма лучше российской лягавки.

Ялта, наверное, самый сексуальный курорт в Европе. Он создан не для отдыха, а для непрерывной гульбы, бешено разматывающихся романов, бессонных ночей, опасных связей. В воздухе пахнет духами, грехом и самшитом. На дискотеках там пляшут так, как будто пляшут в последний раз. Веселые визги голых купальщиц — такая же

неотъемлемая часть ялтинской ночи, как цикады, шум моря, звездное небо. Если после ночного купания вы проводите девушку домой и пожелаете ей спокойной ночи, она заснет с мыслью, что вы импотент. Главное, лишь бы выдержало сердце, потому что пьянство и секс в Ялте так переплетены, что одного без другого не бывает.

В конце концов, что значила Ялта в сознании русского человека? Это были наши *родные* субтропики, тоненькая, как бикини, полоска виноградно-кипарисной земли, и каждая хилая пальма на ялтинской набережной вселяла странное чувство гордости за то, что в бесконечно северной стране есть свое теплое место, а следовательно, стереотип страны разрушен, и это успокаивало, убаюкивало, и жизнь казалась почему-то менее страшной.

На главной площади Ялты по-прежнему стоит одетый в теплое не по сезону пальто товарищ Ленин. Обливаясь гранитным потом, он ведет крымчан в какое-то загадочное будущее.

С облупившимся носом в стоптанных тапках я иду по *дикому* пляжу. Дикий пляж — крымский аналог нудистского, но это особое место. Там нет ни спасателей, ни законов. Там можно заплывать так далеко в море, как только захочется. Там бегают дикие собаки (одна попробовала меня укусить, но вовремя одумалась), там пьют на диком солнце теплую вонючую водку и даже у всех на глазах занимаются любовью.

Я рот открыл от такой вольницы. И было ясно, что бывшая территория СССР — это и есть дикий пляж, и еще должно пройти немало времени, прежде чем дикие собаки станут ручными, а люди — цивилизованными.

СПИЛБЕРГСКИЙ ЯЩЕР

(Советская империя чувств)

Старый кубанский казак, лысый, с выпуклыми глазами и блуждающей улыбкой, по своей правдоподобности похож на доисторического ящера из фильма Спилберга и кажется чудом компьютерной графики. Как живой, он хватается за голову, машет рукой и даже произносит связные речи. Я сижу в полуметре от него, но в его реальное существование трудно поверить. Все решили, что он давным-давно умер, и это его устраивает. Одно неудобство — крошечное одиночество. В борьбе с ним он завел худого котенка, назвал — Терентием, в память об умершей жене с неожиданной апелляцией к ее отчеству. По его словам, душа жены поселилась в ласковой твари. «Вы верите в переселение душ?» — «Ни во что *такое* я не верю, — отвечает мне спилбергский ящер, — но в данном случае верю. А вы думаете, что этот наш патриарх, он что — верующий? По его животу видно, что он неверующий».

Человек, который делает исключение для умершей жены, но отнюдь не для патриарха — абсолютный классик советской литературы, лауреат трех сталинских премий. «У меня было столько друзей, — говорит мне 86-летний Семен Петрович, — что они не умещались в одном зале ресторана. А теперь телефон не звонит неделями». Имя Бабаевского в 50-е годы знал каждый советский человек. Его «Кавалер Золотой Звезды», о котором Сталин отозвался как о лучшем

романе о колхозном крестьянстве, произвел неизгладимое впечатление на читателей в СССР и странах народной демократии. Группа офицеров Советской армии, приняв героя романа за живое лицо, написала ему восторженное письмо, еще раз подтвердив веру русского человека в слово: «Многоуважаемый Сергей Тимофеевич, — писали офицеры, — прочитав роман Семена Бабаевского, мы очень заинтересовались Вашими подвигами, были очень взволнованы Вашей кипучей деятельностью во имя нашей любимой Родины». Со своей *китайской* стороны, крестьянин Лю Чан-лин от имени всех членов сельскохозяйственного кооператива Хунгуан деревни Сяохун просил «передать благодарность кавалеру Золотой Звезды Тутаринову» за помощь в построении лучшей жизни.

Литература была царицей сталинских идеологических полей и нуждалась в идеальном писателе. Семен Бабаевский стал им. Как справедливо писала тогдашняя критика, творческая *удача* Бабаевского «объясняется прежде всего тем, что писателю в его работе помогла направляющая рука большевистской партии». На Всесоюзном совещании молодых писателей в марте 1954 года сам Бабаевский так оценил значение знаменитой речи Жданова, громившего творчество Ахматовой и Зощенко: «Кавалер Золотой Звезды» был задуман еще до того, как вышло постановление, были написаны уже первые главы. И надо сказать, что задуманы они были неправильно. Но как раз в это время ЦК партии, как будто зная, что есть на Кубани писатель, который путается, не знает, как написать, издает это постановление».

Бабаевский настолько растворяется в мифологическом союзе партии и литературы, что для него исключены все те сомнения, которые терзали первое поколение социалистических реалистов. Он никогда не наступал «на горло собственной песни». Поэт старшего поколения Семен Липкин рассказывал мне, что Фадеев пришел в ужас от «Кавалера...», по примитивности сравнивал его с кухонной «табуреткой». В советскую литературу входило второе (и, как оказалось, последнее) поколение соцреалистов, писателей-табуреток, авторов беспрецедентной халтуры. Когда роман выдвигался на Сталинскую премию, Фадеев горячо поддержал его, публично заявив, что среди писателей есть еще «чистоплюи», неспособные понять значение подобных произведений.

В отличие от самоубийцы-Фадеева, Бабаевский ни о чем не жалеет. Над его рабочим столом висит парадный портрет Сталина, и, когда кончилась советская власть, он бросил писать. Семен Петрович родился в безграмотной казачьей семье, был самоучка, рано стал писать рассказы «под Горького». Учился в московском литературном институте, во время войны был военным журналистом. Его озарила идея написать роман о танкисте, герое Советского Союза, который возвращается с войны в родное казачье село и решает методом ударной стройки соорудить в колхозе гидроэлектростанцию.

Бабаевский никогда не напишет воспоминаний. Говорит, они никому не нужны. Кроме того, по причине старческого беспамятства он время от времени попадает в «сумасшедший дом». Но со мной он был на редкость внимателен. Среди

советских писателей он выделил Шолохова как «гениального человека»: «Это не потому, что я с ним был близко знаком, на «ты» разговаривал. Так, как он написал «Тихий Дон» о смерти казачества, так никто не написал. Только о литературе он не любил говорить. О бабах, о пьянке, об анекдотах, о чем угодно, но только не о литературе. Не хотел, надоело, наверное».

Может быть, именно поэтому Шолохов был лаконичен в своей оценке «Кавалера Золотой Звезды»: «Мы как-то шли с сессии Верховного Совета, рядом выходили из Кремля, я говорю: «Что ты думаешь о 'Кавалере...'»? Тот говорит: «Семен, роман обласкан партией и народом. Ну, что о нем еще сказать?» Он знал, что это *не то*, он большой был писатель, и с ним мне равняться нельзя».

Триумфальное шествие «Кавалера...» началось в тот день, когда автора вызвали телеграммой в Москву к Жданову: «Он спрашивает: какая нужна забота ЦК для меня. Ну, вы знаете, что значит такой вопрос. Это квартира в Москве, это дача. Ну все, наверное, что бы ни попросил, дали. Но я сказал, мне ничего не надо».

«Устоять от славы тоже надо было уметь, чтобы не запить, не заблядовать». Он устоял. Семен Петрович написал пять томов художественной прозы. Но под конец он пришел к убеждению, выраженному в толстовской «Исповеди», что «жизнь есть зло»:

«— Вообще время вы трудное переживаете, трудное. Я тоже живу еще, но мне мало осталось.

— Почему вы считаете, что трудное?

— Ну, что ж, понимаете, надо американцам позавидовать, вот так надо работать политиками. Молодцы! Без единого выстрела занять целое государство, да какое! Теперь единственный остался Китай, но я уверен, что американцы найдут и туда ключи. Ну, мы же теперь колонией стали... Это Тэтчер сделала, от нее началось. Помните, когда Горбачев приехал в Англию и Тэтчер публично сказала: это человек, с которым можно иметь дело.

Я Горбачева знал еще ребенком, я с этих мест, потом знал партийным работником, секретарем ЦК. Когда я к нему приезжал, он меня обнимал, говорил: «Ой, отец, спасибо за то, что приехали!» А когда он в Москву перебрался, перестал меня звать. Ну, дело не в этом, а в том, что я не могу понять, то ли он предал сознательно страну... или его обманули. По-моему, скорее всего, его одурачили. Одурачили, как русского дурачка.

— Он был дурачком?

— Нет, Горбачев был деловой, с детских лет на руководящей работе. Хорошая семья, трудовые люди, и он хороший, и я был рад, когда его избрали. Я ему даже телеграмму поздравительную дал. Я думал, пришел к власти как раз такой, кто нужен. А я так ошибся, Боже мой!

Я вам скажу честно, как перед смертью, что лучшей власти, как советская власть, нигде в мире не было и, пожалуй, скоро не будет. А опорочить — это все равно как красивую девушку облили дегтем, изнасиловали, а потом сказали: Посмотрите, какая ваша красавица! Вот так и на советскую власть. Мы ее изнасиловали, мы ее, а не она нас».

Кстати, о сексе и любви. «В книгах моих я плохо описывал любовь, не так, как Мопассан, допустим, или наш Тургенев. Я сам плохо любил или не умел любить. Но я любил мою жену, с которой прожил 64 года. Это немало. Она была красивая, я — тоже ничего, так я ей ни разу не говорил, что я ее люблю, и она мне не говорила, потому что и так было понятно, зачем говорить? Я ее до женитьбы не целовал ни разу, и она меня не просила об этом».

Семен Петрович — ящер-душка. Смерть жены убедила его, что умирать не так страшно («Я думал, страшнее...»). Его последняя мечта: быть похороненным на Кубани, по которой он так скучает, — скорее всего несбыточна: «сейчас я туда даже выехать не могу». Он никогда не был антисемитом («евреи — талантливый народ»), с ностальгией вспомнил свою встречу с Пастернаком в 1934 году на литературном семинаре в Малеевке («Худошавый такой, очень интересный по уму человек... И что еще в нем меня поражало, что я, хуторянин, многого не понял, что он говорит».) Но, пока жив, Бабаевский готов защищать свой роман до последнего дыхания:

«— Ничего я не врал, — с мукой говорит он, — я писал то, как приехал я на Кубань после демобилизации, там строили гидростанцию, она и сейчас работает, вот я взял и написал, как ее строили... какая же это неправда? Конечно, я как художник кое-что прибавил, что-то убавил. Я вот перечитываю свой роман, который не читал 20 лет, и смотрю, если б все так делалось, как было мной написано, вот это было б хорошо, вот это была б жизнь!

— Вы считаете себя социалистическим реалистом?

— Тут вот много путаницы, что такое социалистический реализм. Если, когда вы пишете, вы хотите добра людям, это и есть социалистический реализм. Вот, скажите, «Воскресение» Толстого — это социалистический реализм или нет?

— А как вы думаете?

— Социалистический. Были такие кающиеся князья в России, как Нехлюдов? Не думаю. Но Толстому хотелось, чтобы они были, такие князья, и Семен Бабаевский хотел, чтобы были хорошие советские люди, добрые, честные, благородные, не такие подлецы, как сейчас встречаются.

Тем не менее, «Кавалера Золотой Звезды» трудно назвать *доброй* книгой. Очевидно, ее автору был изначально не чужд некий умеренный советский гедонизм (с южно-русским акцентом; климат Кубани располагает), сочетавший мечту о коммунизме с борщом и галушками. Выстроив в книге плотину, Бабаевский возвестил о реализации этой мечты. С *наглостью необычайной* он объявил колхозников самыми счастливыми людьми на Земле, перековал в своем воображении рабов на энтузиастов и строго наказал заблуждающихся. Сам кавалер Золотой Звезды страдает злостным доношением, искореняя политические «недостатки» районных властей, а затем берет власть в свои руки. Не менее решителен кавалер в оценках буржуазной заграницы. В нищей и несчастной, по словам героя, Польше молодая крестьянка не могла слезть с печи, чтобы приветствовать советских воинов-освободителей, по-

скольку была в буквальном смысле голой. Есть в книге полное предательство казачьих традиций, требование растворить казаков в советском народе.

«Кавалера Золотой Звезды» можно прочитывать как совершенно антисоветское произведение. В самом деле, лишь благодаря своей Звезде герой получает место в городской гостинице или, наконец, добивается разрешения построить гидростанцию. Если в любой другой стране такое строительство было бы обычным финансово-строительным проектом, то в СССР оно переросло в мучительную борьбу, которая требует поддержки самой Москвы. Сталинский лозунг «кадры решают все», продемонстрированный на примере героя, показал крах экономики, непонятный лишь оболваненному человеку.

С «лакировщиками действительности», как Бабаевский, быстро и успешно расправилась либеральная критика уже в середине 50-х годов. Однако спилбергский ящер породил тот фанерный стиль, который, перевернувшись в сознании, предельно точно охарактеризовал халтурность и идиотизм советской жизни. Бабаевский волей-неволей воспарил в метафизику, безжалостно доказывая своим литературным и человеческим примером успешность самых диких социальных опытов над людьми и их беспомощность в сопротивлении этим опытам. На металитературном уровне Бабаевский оказался не менее зловец, чем антиутопии Андрея Платонова. Гений и идиот сошлись и сплелись как две природные крайности, «и казалось людям — огни озаряют то прекрасное будущее, куда лежат их дороги» (Бабаевский).

АНЕКДОТ О ДВУХ КИЛЛЕРАХ

Я рассказал анекдот известному в прошлом восточноевропейскому диссиденту. Он чуть не умер, подавившись банкетным бутербродом. Два киллера стоят в подъезде, ждут клиента. Клиент запаздывает. Час проходит, второй — его нет. Тогда один киллер говорит другому:

— Я начинаю волноваться. Не случилось ли с ним что-нибудь?

Знаменитый иностранец смеялся, узрев вечные черты русской субстанции *his et nunc*. Я понимаю это иностранное удовольствие.

Я рассказал анекдот московскому правозащитнику, живущему в Англии, но он не понял «бандитского» юмора и очень расстроился за Россию. Мы с ним проспорили до утра, как какие-нибудь братья Карамазовы.

В анекдоте несомненна симпатия к бандитам. Происходит психическое «окучивание» экстремистских мачо. Сочувствуя клиенту, киллер попадает в водоворот парадоксальных идей-чувств, которыми и славится русский народ. Смех — радость узнавания.

Однако смысл анекдота не в киллерах, а в запаздавшем клиенте. По исторической логике вещей им, как установлено следствием, оказался Иван-дурак.

Раньше в России любили придурков. Придурки были украшением жизни. Они заворачивали в глубину, под покров государственности, в

пучину негласного сопротивления. Иван-дурак — наполовину дурак, наполовину прикидывающийся дураком — *придурочный*, сладкий герой — раскрепощал мозги своим неординарным поведением. Он жил вопреки заведенному порядку. Порядок был, по всеобщему мнению, плохим порядком. Он противоречил чему-то существенному.

Но придурок, в конце концов, не справился со своей миссией. Он оказался слишком созерцательным, восточным героем. Действительность подмяла его под себя. На место Ивана-дурака в России пришли бандиты. С диким мясом загулявшей энергии. С динамитом. В народе растет восхищение их профессионализмом.

— Они психологически все так тонко рассчитали! — с мазохистским подъемом говорит мне чудом уцелевшая свидетельница памятного взрыва на московском кладбище.

Мода на бандитов — не просто мода, а составная часть мечты вырвать с корнем из себя Ивана-дурака, самому стать *боссом боссов* хотя бы в виртуальной реальности. Жить сильной жизнью. Шампанское, риск, погоня — всегда в цене. И чтобы тебя боялись. И чтобы за твоим негромким словом стояла человеческая жизнь.

Романтизация, героизация бандитов — постоянно *творимая легенда* культовых фильмов. Бандит — активист, который не ждет милости от природы. Его «одушевление» как подсознательная рекомпенсация страха закономерна в разных культурах. Но если в Америке Бонни и Клайд — прорыв пуританской морали, то в России бандиты — маяки новой жизни.

Это опознаваемые символы ее конкретной неопознанности. В сегодняшнем бандитизме Россия ударилась об историческое дно. Страна обнажилась, сбросив старое маскарадное тряпье. Голая Россия — без инородцев, идеологий, штанов — незабываемое зрелище. Она прикрывает свой срам пуленепробиваемым жилетом. С бандитских разборок начинается российское рыцарство. Национальное по форме, сильно задержавшееся по срокам. Но виновник отставания уже *замочен*. Теперь бандит, составляя свой кодекс чести, творит отечественную нравственность с азов.

Его поведение превращается в сумму разноректорных поступков, как в случае с обеспокоившимся киллером. Совершается суворовский переход с дикого Востока на дикий Запад огородами, минуя первоисточники цивилизации. У нас всегда был не столбовой, потомственный, а личный, мучительный *симулякр* европеизации. Через умение повязать галстук и справиться правильный костюм проходили партийные карьеристы, отесываясь в медленном ритме. Жизнь коротка — они не успели. Не успеют и нынешние бандиты при всех их высоких оборотах. Однако бандитские деньги вращаются в дело, превращая бандита в собственника.

Бандит, по природе своей, показной экстраверт. Он даст детям *блестящее* образование, отправит любоваться площадью Святого Марка в Венеции. На рукотворном римско-византийском стыке, пред ясным взором Спасителя они угадают пугливые души своих соплеменников. Бандитские дети со вправленными мозгами вернутся из дальних краев под сильным впечатлением.

Два рыцаря стоят в подъезде, ждут клиента.

БУДЬ Я ПОЛЯКОМ...

Русско-польский диалог — «бесполезная страсть», как сама жизнь, если вспомнить Сартра, и в ней невольно примешь участие, хотя бы по принципу принадлежности к живому.

Есть несколько уровней этого диалога. Всякий раз они смешиваются, как в постмодернистском романе, и в конце ясно виден тупик. Поскольку тупик — источник раздражения и знак безнадежности, лучше всего было бы помолчать. По крайней мере, лет пятьдесят или сто. Но раз уж я начал...

Начну с того, чего нет. Нет общего дискурса. Система понятийности разнится кардинально. Возьмем идеальную пару. Поляк ведет диалог на картезианском уровне логических категорий, чувствительно относясь к проблеме противоречия, с отчетливым представлением о своих интересах. Русский рассуждает на основе общей витальности, интегрирующей противоречие как элемент «живой жизни», снимающей вообще вопрос об интересах во имя надмирного смысла. Польская точка зрения русскому кажется узкой и неприятно прагматичной. Соответственно, русская точка зрения оказывается для польского сознания неряшливо расплывчатой и подозрительно «тотальной».

Речь идет о двух разных типах культуры и цивилизации, которые тем более взаимно отчуждены, что находятся по соседству. Дело ус-

ложняется еще и тем, что Россия не имеет гомогенного типа культуры, отчего о русском сознании говорить можно только с большой натяжкой.

Отсутствие единого русского сознания не отменяет наличие русской государственности, которая извне вполне логично может ассоциироваться с «русским духом», за что каждый русский должен держать ответ. Полякам как национальному образованию в сущности неважно, какие внутренние проблемы терзают русских. Им ясно, что в России нет счастливой государственности, нет процветания. Страна, которая веками изводила граждан и возвеличивала монстров, не заслуживает уважения объективно. Россия тем более отвратительна, что она давила и подавляла Польшу как страну, как культуру, как миф.

Поляки создали устойчивый образ *кацапа*, наполнив его содержанием жизненной несостоятельности. Герметичность и законченность этого образа не допускают поправок. Любое положительное свидетельство о русских (при исключительных условиях его возникновения) становится не добавлением, а самостоятельным приложением, которое находится в таком противоречии с основной моделью, что психологически разрешается спонтанным комплиментом типа: «Я не могу поверить, что вы русский». Это большая награда в устах поляка, и ее надо как следует заслужить.

О каком польском русофильстве может идти речь? Это какая-то перверсия.

Будь я поляком, я бы все русское ненавидел и презирал до бесконечности. Хаос, грязь, помой-

ка мира — а при этом весь мир хотят переделывать по собственному образцу. Я бы и русских диссидентов презирал за принадлежность к России, за их вечное нытье и приглашение к сочувствию, просьбы о помощи. Я бы им посоветовал уехать из России и забыть ее поскорее, если они разумные люди, а не обычные русские.

Что есть у русских, кроме икры? Будь я поляком, я бы спросил русских: «Почему вы не можете делать такие телевизоры, как японцы, если вы считаете себя великой нацией?» И я бы послушал, что бы они мне ответили.

Будь я поляком, я бы не верил в то, что у русских есть литература. Литература? Какая литература? Пушкин писал гадости о поляках, Гоголь писал о поляках страшные гадости, Достоевский — это вообще рупор русского самодержавия, тоже ругал поляков... Только Герцен был в этом смысле *ничего*, да еще маркиз де Кюстин.

Будь я поляком, я бы перевел антирусские письма Кюстина на польский язык и раздал бы каждому школьнику в день конфирмации в качестве подарка.

Будь я поляком, я бы считал аборт русским изобретением.

Будь я поляком, я бы не верил ни в какие перестройки, потому что бы знал с самого начала, что не *они* себя освободили от коммунизма, а просто-напросто у них все развалилось под давлением американцев.

Будь я поляком, я бы читал статьи о русских киллерах и радовался российскому беспределу. А если бы у меня угнали машину, я бы решил, что это сделала русская мафия, и не ошибся бы.

Будь я поляком, я бы радовался войне в Чечне, потому что она показала, что русская армия — слабая армия. Впрочем, она только делает вид, что слабая, и они специально там убивают самих себя, чтобы усыпить мою польскую бдительность.

Если бы я был не просто поляком, а президентом Польши, а в Польше президентом может быть любой простой человек, я бы не только стал членом НАТО, но попросил бы американцев разместить у нас свои ядерные боеголовки, чтобы русские боялись нас, как в XVII веке.

Будь я поляком, я бы сначала стал распространять католицизм в России, но потом бы понял, что это безнадежно, и отозвал бы своих людей.

Будь я поляком, я бы сказал этим русским, которые написали обиженные статьи (по поводу избиения русских пассажиров польской полицией на Варшавском вокзале — случай архетипический), и их руководству: «А вы бы стали разбираться, кто прав, кто виноват, если бы у вас в Москве на Казанском вокзале одни китайцы обворовывали других китайцев? Ваша милиция, наверное бы, всех отправила сразу в ГУЛАГ на десять лет?» И русским нечего было бы мне ответить, потому что они относятся к китайцам так же, как мы к русским, хотя это несправедливо, потому что китайцы умеют работать, а русские — нет.

Будь я поляком, я бы очень просто доказал русским, что у них нет ни совести, ни исторической памяти. Я бы провел в России социологический опрос, из которого бы выяснилось, что не

больше пяти процентов русских знают о существовании Катыни, а о том, *что* там произошло, знают еще меньше. Они до сих пор уверены, что виноваты немцы. Только я бы никогда не поехал в Россию, потому что мне там делать нечего.

Будь я поляком, я бы думал, что русские только и делают, что думают о Польше. Я бы думал: вот глупая страна, у них много других дел, а они думают только о Польше. О том, как бы нас заново завоевать.

Будь я поляком и у меня бы была дочь, которая бы сошла с ума и решила бы выйти за русского, я бы ей сказал, пусть она лучше выходит за немца или, на худой конец, за еврея.

Будь я поляком и редактором газеты вроде «Жиче Варшавы», я бы запретил печатать информацию о погоде в Москве, потому что Москва — это не то место, о котором полякам нужно знать погоду на завтра.

Ну и т.д.

Новое поколение русских создало почти параллельный «кацапу» самостоятельный образ «совка», общественно-национальную модель, с бóльшим акцентом, правда, на социальной и конкретно советской, нежели национальной сущности. Разница между «кацапом» и «совком» в том, что в последнем случае существует некоторая надежда на выход из образа, по крайней мере в перспективе.

Русские, со своей стороны, исторически создали довольно симпатичный образ поляка (в противовес официозному имиджу, изготовленному русской бюрократией). Даже славянофилы участвовали в его создании, *malgré eux-mêmes*, как

это случилось со Страховым в его злополучной статье «Роковой вопрос». И Страхов, и Бердяев (написавший в начале века эссе о национальных характерах русских и поляков), и многие другие подчеркивали индивидуализм, рыцарский дух и более высокий тип цивилизации как соблазнительные константы «польшизмы».

В России особенно притягательным стал образ Польши со времен хрущевской оттепели до победы «Солидарности». Целое поколение «переболело» любовью к Польше как проводнице западных ценностей (кино, джаз, театр). Особую роль сыграл издаваемый на русском языке журнал «Польша».

Русские искали в Польше Запад, а нашли симпатичную для себя страну, имеющую чувство иронии, юмора и отваги. Каждая красивая русская девушка утверждала, что ее бабушка была полькой. Мифическая польская бабушка была знаком не только утонченной красоты, но и аристократизма.

К сожалению, все это уходит в прошлое. Теперь впервые, может быть, с начала XIX века наметился резкий спад интереса к Польше. При прямом контакте России с Западом безответная любовь русских к Польше (что-то похожее на традиционную любовь поляков к Америке) сменилась более ровным, в меру дружеским чувством. Русские не видят больше каких-либо значительных польских достижений в культуре. Польское беспокойство по поводу политической самостоятельности вызывает у них ироническую гримасу: «Зачем вы нам нужны?» Кроме того, Восточная Европа в целом у новых русских вызывает аллер-

гию как нечто второсортное. Постепенно складывается далеко не романтический образ поляка — «полячка» (с обидно уменьшительным, несколько уничижительным суффиксом), которого в основном занимают «мелочи», но который по-прежнему считает себя ключевой фигурой, кичится, важничает и суетится.

Если Россия политически не обанкротится и экономически станет на ноги (а это возможно), то она уже в начале XXI века впервые на Польшу посмотрит высокомерно, как на что-то «незначительное» (сейчас такое отношение уже наблюдается, например, к Болгарии). Психологически России это будет приятно сделать. Так отвергнутый когда-то любовник, разбогатев и ощутив свой мировой масштаб, смотрит при встрече на свою бывшую пассию, которая (выйдя замуж за другого) живет достойно, скромно, но не слишком весело и интересно.

Е МЕЖДУ Г И Д (Портрет Евтушенко)

Евтушенко — имя нарицательное. Может быть, это самое нарицательное имя в истории русской поэзии. Это не комплимент и не осуждение. Это феномен.

Автобиографический роман «Не умирай раньше смерти» обнажает истоки евтушенковской нарицательности. Евтушенко — герой многожанрового спектакля, эклектичного действия, где любовная мелодрама соприкасается с политическим фарсом, социальным шоу, метафизическим водевилем, светской хроникой, наконец, комиксом. Евтушенко — ласковая душа массовой культуры. Это герой-любовник, шармёр, галантный ухажер, эротический победоносец, перед которым трудно устоять любой женщине, потому что он знаменит, искренен и не жаден. Он не любит ни Лолит, ни проституток, он жаждет побеждать, хочет преград, не любит извращений, он любит любить классически.

Но, главное, это мужской *инженю* — простодушный, наивный герой, который хочет людям добра, но который больно расплачивается за свои добрые поступки.

В 60-е годы французский журнал «Экспресс» напечатал короткую «предварительную» автобиографию Евтушенко. Помню, там он предстал перед публикой молодым романтическим обидчиком. Спустя много лет он написал большую обиженную автобиографию.

Евтушенко писал, что поэт в России больше, чем поэт. Это не декларация, а самоопределение, развитое в его романе: «Есть просто стихи. Но есть стихи-поступки. К сожалению, хорошо отшлифованный, но запоздалый поступок поступком быть перестает. А поступок вовремя, он иногда не успевает стать отшлифованным». Вследствие подобной эстетики плодятся тома гражданской лирики и творится миф поэта-трибуна, который, как правило, оказывается гораздо меньше, чем поэт:

*Мы сегодня — народ,
а не просто обманутые дурачки,
и сегодня приходит на помощь
к парламенту нашему
Сахаров,
протирая застенчиво
треснувшие очки.*

Евтушенко назвал свою автобиографию романом, соединив воображаемых персонажей с реальными. В сущности, книга вращается вокруг путча августа 1991 года. Он написал одну уникальную главу от лица арестованного Горбачева, или, вернее, «от лица» его мыслей, другую — о том, как Ельцин ищет носки перед тем, как поехать бороться с путчистами. Он рассказал о знаменитых людях России вроде Ростроповича, о своей любви к футболу и о том, как он пишет свои исторические стихи (см. выше) на балконе осажденного московского Белого Дома. Из книги Евтушенко ясно, что он знал всех, весь мир, и здесь он вне конкуренции: он знал и Фиделя Кастро, и Роберта Кеннеди, и Солженицына; что он был неверным мужем трех уникальных по своим характеристикам жен (поэтессы, диссидент-

ки и англичанки) и стал верным мужем четвертой жены, которая редактировала эту автобиографию.

На маргинальных направлениях своей жизни он готов покаяться в грехах: заставил одну жену сделать аборт, другую неврастенически толкнул в беременный живот, отчего вышли семейные неприятности, приведшие к разводу, и т.д. Но на главном направлении, поэтическо-политическом, он готов до конца отстаивать свою правоту. Детская жажда славы — доминанта его характера; плюс уверенность, что слава не бывает напрасной, что она показатель таланта и внутренней силы. При таком раскладе Евтушенко не хуже Гете.

Он показал на своем примере, чего нельзя делать: пытаться улучшить в корне порочный режим. У молодого поэта были какие-то иллюзии. Он искренне не знал, что режим порочный. Но это незнание было не только алиби, но и приговором его уму. Режим пользовался им, чтобы иметь либеральный фасад. Он пользовался режимом, чтобы жить так, как он хотел. Кто кого перехитрил? По-моему, в победителях долгое время оставался Евтушенко. Своими полудействиями он бессознательно способствовал не исправлению, но разложению режима не меньше, чем Сахаров. Толпа не знала и не хотела знать о его компромиссах. Знали коллеги, и многие не уважали. Но толпа создала Евтушенко образ рубахи-парня, своего в доску, и он победил в ее воображении.

Представим себе, что все дело происходило бы в нацистской Германии. И вот немецкий поэт

по фамилии Евтушенко входит в контакт с Гестапо, чтобы спасти диссидентов, из парижского посольства Абеца шлет зашифрованную телеграмму в центр, прося за опального поэта. На молодежном фестивале в Хельсинки, видя, что немецкую балерину поранили бутылкой во время выступления, он пишет гневные стихи «Сопливый коммунизм». Когда же два высокопоставленных нациста слушают эти его стихи, они впадают в административный восторг, и гестаповец в задумчивости говорит: «Мда-а... Те поэты, которые ходят к нам с доносами на вас, таких стихов не пишут... В общем, если я могу быть вам когда-нибудь полезным, мало ли что может случиться, вот на случай мой телефон».

Немецкий поэт Евтушенко прибегает к его услугам. Вот он привозит в нацистскую Германию ворох диссидентской литературы. Его обыскивают на таможне (как некогда Бунина), он бежит в приемную Гестапо и — там «начал давить на все педали»:

— И вообще, какое они имели право меня обыскивать?

Через три месяца книги ему вернули. А других сажали за книгу, за полкниги. Советская власть, разумеется, чем-то отличалась от нацизма, будучи глуповатой, нереализуемой утопией, но на уровне государственных отношений это был беспощадный тоталитаризм. Хитрый инженер написал в докладной, что книги ему нужны для повышения «идеологической бдительности».

Когда же пришла свобода и толпа скидывала памятники тоталитарных времен, коллективный *кто-то* крикнул в лицо Евтушенко: «За какие заслуги вас так берегла советская власть?»

Свобода стала его погибелью. И он ее взял и проклял: «Не зная, что такое свобода, мы сражались за нее, как за нашу русскую интеллигентскую Дульсинею. Никогда не видя ее лицо наяву, а лишь в наших социальных снах, мы думали, что оно прекрасно. Но у свободы множество не только лиц, но и морд, и некоторые из них невыносимо отвратительны. Одна из этих морд свободы — это свобода оскорблений».

Новая власть перестала считаться с поэтом. Он уехал в Америку полуэмигрантски преподавать на долгие месяцы и писать обиженную прозу, по своим ярким эпитетам и сравнениям близкую к хорошему бульварному роману. В результате Евтушенко оказался никому не нужен, ни черносотенцам, ни демократам, ни Востоку, ни Западу. Он отомстил *всем* в форме ядовито-беспомощного четверостишья:

*Многое в мире мне выдано.
Но недовыдано в нем
Право свободного выбора
Между дерьмом и говном.*

Несмотря на то, что по своему качеству большое количество его стихов находятся как раз «между дерьмом и говном» («...я пришел в ужас от того, сколько плохих стихов я написал...», — честно пишет он в книге), Евтушенко раздосадован тем, что не менее знаменитый поэт Иосиф Бродский, вызволенный с помощью Евтушенко из далекой северной ссылки, однажды отказался надеть в ресторане предложенный им пиджак (небось малинового цвета с искрой) и вообще «предал» его компрометирующими комментариями. Поэтический *инженю*, не осознавая разни-

цы творческих потенциалов, горько восклицает в своем романе:

«О, эпоха, о, мать уродов! Что ты сделала с нами всеми? Может быть, мы могли бы быть братьями с Любимцем Ахматовой (то есть Бродским. — В.Е.), но ты нас с ним рассорила, расшвыряла, хотя, может быть, как никто, мы были нужны друг другу, и неужели мы никогда больше не поговорим по-человечески и подышать будем в одиночку?.. Да, и сам я урод, искореженный, искривленный, изломанный... А еще счастья хочу... А может быть, я его не заслуживаю, как все мы? А?»

В каждом писателе есть свой Евтушенко. Но Евтушенко состоит только из Евтушенко. Не знаю, заслужил ли он счастья. Покой наверняка он заслужил.

ПРАВА МУЖЧИН

Хороши непальские ножи *кукури*! Это грозное оружие воинствующих, наводящих ужас на мирный люд *гурхов*. *Кукури* и бычка одним махом освежает, и гималайский фикус, известный под именем «религиозный», срежет.

Будь на то моя воля, я бы истеричкам и психопаткам, неврастеничкам и прочим адвентисткам предменструального дня рубил бы *кукури* головы. Взял бы *кукури* и — рубил их оружие мерзкие головы. И никаких раскольниковских мук. Одно большое мужское счастье.

Но не та обстановка.

«Человек рода он», как определил мужчину Даль, встречает ХХI век с белым флагом капитуляции в руках. Это напоминает размахивание кальсонами.

Ликуй, феминистка! На Западе женское движение, приобретя уставные формы идеологии, разбило половую «империю зла». Прощай, главенствующий статус! Цивилизованный мужчина мирно отступил по всем направлениям. Он признал равенство полов, но не нашел себе устойчивого места в фиктивном балансе сил.

Профессора американских университетов, веселые бабники прошлых десятилетий, шепотом, затравленно озираясь, жаловались мне, что теперь неосторожное телодвижение или даже нескромный взгляд расцениваются как «изнасилование». Скоро их будут расстреливать за про-

шлые «преступления», как у нас в свое время — троцкистов.

Мужчины *на всякий случай* стали бояться женщин. Или делают вид. Мимикрия — оружие побежденных.

— Он меня боится, — с гордостью скажет любая немецкая журналистка. Ей — приятно.

Ах вы, мои ласковые суки!

Борьба западных мужчин за свои права попала в руки консерваторов, лишенных легкости бытия, и свелась к пустякам. Если они, растерянные и разоруженные, и перейдут когда-нибудь в организованное контрнаступление, то не иначе чем через глобальный кризис сознания.

Судьба мужчины в России выглядит иначе, однако не менее травматично.

Кто виноват, что русский мужчина рухнул? Советская власть? Да, но кто виноват, что возникла советская власть? Русский мужчина.

Я называю русского мужчину облаком в штанах. Но не в том немом смысле, который имел в виду Маяковский. Мы говорим на языке пустоты. Русский мужчина был, русского мужчины *уже-еще* нет, русский мужчина снова может быть. Такова диалектика.

Морфология мужчины составляет надежную классификацию его прав. Мужчина состоит из свободы, чести, гипертрофированного эгоизма и чувств. У русских первое отняли, второе потерялось, третье отмерло, четвертое — кисель с пузырями.

Аморфное образование, которое пришло на мужское место, трехрядно. Сверху прослойка человека, снизу — мужика, а посередине раздавленная прослойка мужа.

Человек имеет разновидности согласно впереди стоящим прилагательным: большой человек, маленький, деловой, лишний и т.д. У каждого своя социальная ниша или ее отсутствие. Русский мужской мир раздроблен.

Мужик — бытовое явление, которое парится в бане и пьет водку. Водка генерирует его самосознание в философском режиме «быть или не быть». Как бы то ни было, от мужика до сих пор умудряются рождаться дети. Половина их становится, как он сам, мужиками. Они не посмеют сказать о себе: «Мы — господа...» Их засмеют. Да и самим неловко. Бог с вами! Мужик — явление низшего сословия, даже если на джипе.

Вторая половина детей становится женщинами. Русская женщина — понятие не химерическое. Она состоит из необходимости. В России необходимости хоть отбавляй. Вот почему Россия женственна.

Русский мужик простодушен, но недоверчив. К женщинам он относится «не очень». Однако все женятся, и он тоже. Как правило — неудачно. Мне рассказывала тетя Нюра, она из Мордовии, что молодые татарки из тамошних деревень все чаще стремятся выйти за русского. Татары — злые, объясняет тетя Нюра, а русские — дураки. С ними легче управиться. Говорит про *своих* же, что — дураки, и ничего, как будто решенное дело. Где же дураку увидеть в невесте «с ногами» будущую стерву?

Мужская жизнь складывается из достижений. Победителя можно брать голыми руками. Женщина, которая создаст у мужика иллюзию большой победы, будет самой большой победи-

тельницей. Как всегда: Россия победит, а восторжествует Германия.

Русский муж — фигура комическая. Вон он бродит в тапочках по кухне.

Для закабаления мужа нужно разыграть карту морального императива. Это просто. «Она знает лучше». Жена становится семейным судьей и выдвигает обвинения в форме претензий: «Почему ты не можешь сделать самых простых вещей?». Один русский философ назвал претензии глубоко неаристократической формой поведения. Стерва в самом деле не слишком аристократична. Семейные разборки становятся публичным разбирательством. Жена начинает глумиться над мужем в присутствии родни, друзей и знакомых. Она прозрачно намекает на то, что он никуда не годится в постели, и — открытым текстом:

— Мой муж — неудачник.

Здесь вскипает кровь, и надо думать о своих правах. И мужик начинает думать. Он думает, думает, думает и додумывается до того, что все бабы — стервы. К этому времени ему пора умирать. И он умирает, просветленный. Под вой своей будущей вдовы.

Воскресение русского мужчины — пасха, крашенные яйца. Это хорошо и похоже на чудо.

ЯРКО-РОЗОВОЕ БЕЛЬЕ СРЕДНЕЙ ЕВРОПЫ

(Самоинтервью на грани исповеди)

— Что для тебя значит Средняя Европа?

— Чего? Нет сил сосредоточиться. Сознание скользит мимо.

— А если бы она провалилась сквозь землю?

— Огорчился бы, наверно, но это бы быстро прошло.

— Раньше было иначе?

— Да, но об этом не хочется думать. Впрочем, я люблю чешское пиво. Я даже удивился, когда понял, стоя как-то в супермаркете в Америке, что мне больше всего хочется купить чешское пиво. Раньше, даже в разгар любви к венграм-полякам, я бы купил голландское или бельгийское, или немецкое — просто из недоверия к чешской продукции. А теперь вынужден признать, нет, даже с радостью признаю, что чешское люблю больше всего.

— Почему с радостью?

— Из-за любви к своей объективности. Но из той же любви к объективности скажу, что итальянские персики вкуснее венгерских, а венгерское вино — ничего, но все-таки варварское. Правда, еще польскую зубровку люблю.

— А что же было раньше?

— Раньше у меня была какая-то непонятная любовь к венграм-полякам и в какой-то момент к Чехословакии тоже.

— Почему любовь? И почему непонятная?

— Я обожал их за сопротивление русским. Буквально до слез. Впрочем, это была поверхностная любовь. Иногда мне теперь кажется, что я их тогда придумал.

— Что значит поверхностная любовь?

— Я не удосужился их изучить. Любил какие-то неопознанные предметы. Я политически гораздо лучше знал эти страны, чем в смысле культуры. Почти ничего не читал художественного. Швейка не дочитал, бросил на половине — стало скучно. Петефи (как он правильно пишется?) — это вообще какая-то ерунда.

— А Кафка?

— Так Кафка — вообще не Европа. Он, скорее, Африка. Это Кафка. А я про серединное. С поляками было чуть получше — там было хоть какое-то смотрибельное кино — но ненамного. Зато до одури читал все документы по венгерскому восстанию. Теперь ничего не помню, как отрезало. В 68 году даже взялся читать газеты по-чешски. Обожал их, дураков.

— Почему «дураков»?

— Это я от нежности. И от стеснения. В 88 году, когда меня еще никуда не пускали, мечтал приехать в Будапешт. Но когда стало можно, уехал, конечно, не в Будапешт, а в Америку.

— И Запад у тебя съел Среднюю Европу?

— Не совсем так. В 89 году я еще с удовольствием был наконец в первый раз в Будапеште. Он тогда был сильнее Москвы.

— А теперь?

— Не сравнить. По энергии все города этих трех стран, вместе взятые, уступают Москве на порядок. Москва энергетически стала похожа на Нью-Йорк. А эти страны превратились в полу-

уютное, полуобморочное захоlustье. Не тот масштаб. Не те скорости жизни.

— Нет ли в этом злорадства?

— Есть, конечно, немного. Они думали, в своей Средней Европе, что по уровню цивилизации они выше России, у них там стриптизы и хуй знает что, а оказалось — захоlustье. Во всяком случае, мне здесь не от кого заряжаться энергией.

— Значит, ты поставил крест на Средней Европе?

— Когда я смотрю в эту сторону, кое-что мне кажется симпатичным. В Праге — я был недавно — мне показалось, что кое-какие люди в чем-то даже более русские, чем сами русские. Одна учительница русского языка в ярко-розовом белье взяла меня за руку и сказала, сильно волнуясь: «Виктор, ты меня любишь?» Я хочу сказать, они удивительно мягкие. У нее папа был водителем автобуса, что ли. В порядке ответа я погасил свет. Она мне сказала на ухо, что ей теперь вместо русского велено преподавать немецкий. А она хочет русский. Чтобы рассмотреть ее доброе лицо, я вновь включил свет. У них мягкость — почти славянофильская. Их, как масло, можно на хлеб намазывать. И говорят так певуче. В этом есть что-то сексуально привлекательное, милое.

— Они отличаются от Запада?

— А на русской филологии сразу после всех их бархатных революций одни уродки учились, с вывороченными вперед зубами. А теперь стали попадаться и нормальные зубы. Это радует.

— Так они *отличаются* от Запада?

— Кто ж на Западе ходит в ярко-розовом белье? Середина Европы, сняв платье, обнаруживает

свою провинциальность. Иногда провинциальность — приятное качество. Я теоретически люблю побывать в деревне, лечь и выспаться. Пошуршать листьями под ногами. Они так трогательно поворачиваются к России, испуганные всеми этими немцами, американцами, французами. Кажется, они даже в чем-то глубже разочаровались в западной цивилизации, чем догадываются об этом. Они так быстро забыли зло, которое им принесла Россия. Они наших солдатиков, своих убийц, оккупантов из русской деревеньки, вспоминают почти что с нежностью. И зима у них помягче, чем у нас. У них зима — наша поздняя осень. А потом раз — сразу весна. У них срезана климатическая экстрема наших широт. Это отразилось на всем.

— Хочешь ли ты на танке как русский снова завоевать Среднюю Европу?

— Я ее завоюю только тогда, когда очень сильно обижусь на Запад.

— За что?

— За обман. За двойной стандарт. Моралисты хуевы, они себе прощают то, что нам не прощают. За то, что Россию Запад отпихнул, а потом будет говорить, что мы — дети Гулага. Капитализм мне кажется достаточно убогой философией, он равноценен разве что убожеству самого человека. Лучше, конечно, чем коммунизм, качественнее, но все равно не Бог весть что.

— И что ты сделаешь со Средней Европой, когда ее завоюешь?

— Я ее сначала помучаю, а потом сделаю немножко более либеральной, чем Россию, и они будут снова красиво корчиться от всех своих комплексов сразу. А я буду опять за них болеть в фут-

бол и хоккей. При советской власти я не мог болеть за русских, всегда болел против них, за кого угодно, только против них, а потом, после 91 года, это пришло само по себе, вдруг заболел за наших, приобщился к первичным формам национализма.

— Знает ли что-нибудь Средняя Европа о России?

— Как бы плохо я ни знал Среднюю Европу, она знает Россию хуже, чем я — ее. Нет, конечно, они когда-то прочли Толстого с Достоевским и даже некоторые дочки водителей пригородных автобусов вошли в детали, но все это — не то. Не в коня корм. Что они знают о России? С одной стороны, они слышали от своих бабушек, что русскому нельзя доверять, даже если русский приходит с подарком. Эти покойные бабушки были правы. Как русским доверять? Русские никого, кроме себя, за людей не считают, а если учесть, что они себя считают за говно, то все сходится. С другой стороны, русские — противовес слишком холодному — для Средней Европы — Западу. То есть русские — слишком горячие. То есть Средняя Европа — это как кран-смеситель холодной и горячей воды. В идеале.

— А на самом деле?

— На самом деле из обоих кранов едва капает.

— Так духовно обделены?

— Для здорового духа — чем меньше, тем лучше.

— Они здоровые?

— Почему это они здоровые?

— А какие?

— Да никакие. Обычная Средняя Европа.

ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ

(Борис Гребенщиков)

Если культура теряет голову, то это еще не значит, что мы теряем культуру.

Впрочем, культура уже не сакральное слово. Я обещаю, что будет немало обиженных. От 10% до 30% — наебанных. Учителя дешевеют на глазах.

В тулупах, с шапками набекрень, они стоят с недоуменными лицами поодаль. Поражает, однако, не их невостребованность, а их физическое разорение. Они учительствуют в распаде и в полном распаде. Один — пьяный, другой — дурак, третий — с пустыми глазницами, четвертый — перхотный, пятый — мошенник, шестой — во френче, седьмой — карлик, восьмой — баба-яга с расстегнутой ширинкой, девятый — неврастеник, десятый — тонкий мудак и аграрий, одиннадцатый — за генерала Власова, двенадцатый — резко против.

Апостолы не чистят ни зубов, ни ботинок. С зубами у них — дыра. Апостолы не маршируют в модную парикмахерскую, не бреют подмышек, не моют рук после жидкого испражнения, не стригут ногти на ногах, но зато обкусывают их на руках. Косые, кривобокие, горбатые, перекуренные, похмельные, нестильные, гаймаритные, зажатые, психастенические, импотентные, боящиеся минета, не умеющие спросить, где здесь туалет, где — притон с блядьми.

Квадратные колеса гуманизма, оценщики, судьбы, запретители, паникеры, всю жизнь обещающие взяться за руки, но так и не взявшиеся, хотя и

сбившиеся в кучку, многословные, витийствующие, болтливые, религиозно одномерные, одноглазые, черно-белые, головные, никогда не пробовавшие даже *травки*, незатейливые шутники с театральными жестами. Книжники, плохо умеющие читать, не умеющие радоваться, во всем видящие происки разных разведок, плохо танцующие, всю жизнь вспоминающие свое убогое детство, первую встречу с морем, политически воспаленные, старосветские бабники с усталой печенью, суетливые, понурые, не выходящие за горизонт, ворчливые, с тухлой энергией, не умеющие любить тело.

Стихотворение для них — сильнее глубокого массажа.

Париж для них — экзотика.

Лондон — мука левостороннего движения.

Амстердам — сплошная педерастия.

Китай для них — председатель Мао Цзэ-дун.

Корея — теория и практика чучхе.

Пастернак для них — гениальный автор «Доктора Живаго».

Духовность для них — свет в окошке.

Духовность для них — поп с укропом.

Духовность для них — музей и музей.

Русская история для них — синоним страдания.

Спасение России для них — социальный проект.

Компьютер для них — ухудшенный вариант пишущей машинки.

Мотоцикл — распространитель шума и смерти.

Частный самолет для них — символ роскоши.

Роскошь для них не существует.

RNR для них — пустой звук.

Они спят на неудачных кроватях, с неудачными женами, не умеющими готовить.

Что едят мои апостолы?

Они едят морковные котлеты и фильмы Тарковского.

Иосиф Бродский производит на них впечатление.

Карлос Кастанеда для них отравя.

Окуджава — эпицентр культурной жизни.

Высоцкий — повесть о настоящем человеке, косящем под бластного.

Окуджава — ближе, но Высоцкий — тоже не далеко.

Духовность для них — это развитое чувство коллективной вины.

Духовность для них — принародная боль за народ.

Мои апостолы родились в толстом журнале.

Мои апостолы не любят шаманов.

Мои апостолы — замороженный век Просвещения.

Утроба матери на их языке не называется детородным органом.

Далай Лама для них — народный герой, но не больше.

Синагога для них — спорный вопрос. Синагога в России для них — проблема.

Галлюцинация для моих апостолов — это враг культуры.

Глоссолалия для них — бессмысленные выкрикивания.

Мужчины для них лучше женщин настолько, насколько кино лучше комикса. Впрочем, это приглашение тайны, потому что они уже припасли к 8

марта цветы и конфеты. И батончик шоколада для
дочки хозяйки.

Транс — нарушение нормы.

Норма — моральная категория.

Ганг — грязная речка с крокодилами.

Пустотность — для них пустота.

Нирвана — чесотка.

Китч есть китч. Секс — помойка. Фрейд —
шарлатан. А розы — слезы.

Пошлость — измена жизни.

Масскультура — измена жизни.

Успех — срамное слово.

Высоцкий правильно кричит, потому что он
возмущается. Слово *сволочь* не произносится лас-
ковым голосом.

Вертинский — под подозрением, скорее все-
го, он не «наш».

Мат — это не разговор между женщиной и
женщиной.

Не знаю — это не ответ.

Вермеер — жанровая живопись.

Королевский Версаль — снобизм.

Иностранных языков мы не знаем по опре-
делению.

Девушка — наш боевой товарищ, с которым
не может быть общего языка.

Харрисон — это кто и зачем?

Хендрикс — это что, наркоман?

И вообще.

Мы

не

нюхаем.

Му-му и Герасим.

Борис Гребенщиков — всадник без головы.

ХОЛОСТЯЦКИЙ УГОЛ

В холостяцком углу хранится всякая всячина. Здесь и мелочь младенчества: синяки, бабушки, сидение на горшке, здесь и раздумья о генах, корнях, поллюциях; здесь — образ незнакомки, мелькнувшей за окном автобуса, с большой грудью, карьерные фантазмы, любовь к русскому балету, к запаху бензина. В любом мужчине есть холостяцкий угол.

Доступ туда — по большой дружбе, по пьяни или случайности (попутчики в поезде). Бывает, в краткую пору страстной любви, но потом — занавешивается.

Мужчины молчат о своих тайнах, делая вид, что их нет. Мнительные, они стесняются своих страхов. Они втихомолку боятся смерти, только видно, как ходит кадык. Они вообще куда более стеснительны, чем женщины, которые угощают друг друга тайнами, как пастилой и печеньем. Женщины играют со своей стеснительностью в прятки, но стоит мужчине выйти за дверь, как они с облегчением выпускают газы. Мужчины по своей природе заики, которые с трудом учатся говорить. Менее цельный, чем женщина, мужчина складывается из экзистенциальных кусков и квадратиков.

Если холостяцкий угол не проветривать и самого себя туда не впускать (по причине отсутствия времени, по той же стеснительности), в нем может завестись все что угодно: плесень, дрянь, разные комплексы.

В течение жизни холостяцкий угол имеет способность сужаться и расширяться, но он *есть*, и с ним нельзя не считаться, как с родовой принадлежностью. Женщины, если обнаружат его, полагают, особенно ревнивые женщины, что это что-то такое скандально антисемейное, антиженское. Скорее всего, они правы.

Мужской взгляд строг. Мужчина и в самом деле переполняется антиженскими настроениями, вдруг замечая в жене мелочность, суетность, склонность к кухонному господству, а у повзрослевшей дочери — неприятные пупырышки, прыщики полового созревания. Антиженская брезгливость поднимается в нем, как рвота, и он прячет ее в холостяцком углу.

Даже счастливый семьянин нуждается в уединении и мужской компании. Он уезжает на охоту или поиграть в теннис не просто ради азарта. Он сидит одиноко с удочкой на льду не потому, что хочет сэкономить деньги и накормить семью. Ему нужна передышка.

Мужчина, у которого холостяцкий угол занимает всю квартиру, называется холостяком. У него вся жизнь — передышка.

Холостяк — само по себе довольно противное слово. В нем есть что-то изначально холостое, неполноценное. Употребляя его, мы невольно оказываемся на территории, в культурном и языковом смысле враждебной холостяку. У нас нет другого выхода.

Холостяки делятся на подвиды, и говорить о холостяке как собирательном лице не приходится.

Существует, однако, два главных подвида. Одни возвели свой холостяцкий угол в культ.

Другие не сумели его расчислить. Мужчины, что посредине, обычно женятся.

Коллекционер полярных начал, *счастливый* холостяк ценит в гареме разнообразие.

Кто засорил свой угол со школьных лет, мыкается, зажатый. Это он предложил невесте поехать расписаться в ЗАГС не на такси, а на трамвае. Судорожная попытка с *другой*, такой, казалось бы, неприхотливой, но тут — постельная катастрофа, и он сбежал, не поняв того, что она не поняла, что случилась катастрофа. И она долго смотрела из окна, как он бежит, вжав голову в плечи. Он так и продолжает жить, без шеи, с перхотью на плечах.

Такой *несчастный* холостяк не то чтобы боится женщин, не то чтобы их не любит, а просто со временем они для него как-то не так, что ли, пахнут.

Если *счастливого* холостяка спросить, почему не женился, он скажет, что еще никогда не слышал о счастливом браке. Он знает ужасы моногамии — ему о них рассказали его же подруги. И действительно, со стороны брак выглядит еще хуже, чем он есть на самом деле. Он выглядит, как город, на который сбросили бомбы: смотришь по телевизору — там жить невозможно, а приедешь — ничего: кое-как ползают недобитые люди.

Свободной жизни полагается быть радостной и богатой. Жизнерадостность требует от холостяка постоянной веселой занятости. Он как будто живет на сцене. Он, как правило, творческий человек, даже если ничем не прославился.

Деньги — основа холостяцкого счастья. У *коллекционера* есть не то чтобы прекрасная квар-

тира, но что-то похожее на мастерскую, набитую нужными и ненужными вещами. Или дача, доставшаяся от родителей, с абажурами. И трубочный дым — выгородка личного пространства. Холостяк-коллекционер — легкий на подъем человек, много путешествует, коллекционирует страны. Ему идет такой пост, как посол в какой-нибудь малой стране. *Несчастному* холостяку лучше всего стать желчным литературным критиком.

Счастливым холостяк любит, когда вокруг него крутятся преданные люди и — подпевают. Он из тех, кто немало пьют, но не считают себя пьяницами, потому что пьют дорогие напитки. У него за душой история большой любви, но *она* сошла с ума, попала под поезд и эмигрировала в Лас-Вегас. Он любит чужих детей, как Дед Мороз. Дети запоминают таких холостяков на всю жизнь и рассказывают о них легенды.

Своих же детей, возникших в результате женской коллекции, холостяк знает хуже других и по разным причинам не имеет к ним доступа.

Говорят, *несчастный* холостяк не женился, среди прочего, потому, что у него неприятная властная мама. Как бы то ни было, *счастливым* холостяк очень любит свою маму. Мамы *счастливых* холостяков — интеллигентные женщины, которые любят одеваться со вкусом, в стильные черные платья.

Всю жизнь трудно превратить в театр. *Счастливым* холостяк хорош в среднем возрасте. К старости он иногда выдыхается. Тогда, изменив привычкам, он неожиданно женится, и его жена почему-то всегда похожа на его маму, одевается

со вкусом, в стильные черные платья, что трогательно.

Счастливый холостяк обладает хорошей коллекцией икон, но в Бога верит не очень последовательно. У него проскальзывает склонность к буддизму. *Несчастный* холостяк вместо буддизма с годами тянется в сторону церкви. Или в сторону мальчиков. Или — в обе стороны.

Статистика утверждает: холостяки живут недолго. Холостяки же хором утверждают, что пусть *недолго*, но, в отличие от остальных, они *живут*.

БОЛЬ ЗА НАРОД

Наравне с геморроем, любимым заболеванием интеллигенции до сих пор остается *боль за народ*. Однако это вопрос гигиены и профилактики. На родине я практически никогда не испытываю боль за народ. В ранней юности, бывало, испытывал. С годами прошло.

Но, когда в январе я гуляю на острове Капри между виллами Круппа и Горького, среди мимоз, лимонов, красных рождественских звезд, бутонвиля, бамбука, приморских сосен, банановых пальм, когда врываюсь, ложась на дно лодки, под низкие своды Лазурного грота, когда, жмурясь от солнца, лезу в гору навстречу разрушенной вилле императора Тиберия, который правил Римом с Капри в то время, как распинали Иисуса Христа, когда любуюсь длинноногой скалой в виде природной арки, когда ем сердца артишоков, спагетти с *frutti di mare* в местной trattoria, беседуя с рыбаками о жизни и о любви, или захожу в церковь Святого Михаила, окруженную кактусами, или в часовню Святого Петра, что неподалеку от автобусной остановки, тогда я опять начинаю испытывать боль за народ.

Точнее сказать, за разные народы.

Я испытываю боль за итальянский народ, потому что он так избалован своими красотами, своими охуенными колокольнями, что ему стало трудно выезжать за границу.

Я испытываю боль за черствый, *буржуазный*, не умеющий по-славянски дружить народ Франции.

Я тревожусь за американский народ, которому запретили курить в общественных местах и который никак не решит свои расовые проблемы.

Я испытываю боль за английский народ, потому что он живет, действительно, в плохом климате.

Я переживаю за немецкий народ, потому что на нем, по-моему, лежит грех.

Я испытываю боль за китайский народ, потому что китайцы угнетают терпеливый, длинноухий народ Тибета.

Я испытываю боль за голландцев, потому что у них нет гор, за швейцарцев, потому что у них нет моря, и за венгров, у которых — шаром покати.

Я волнуюсь за чешский народ, потому что он пьет слишком много пива.

Я испытываю боль за алжирский народ и другие кровожадные народы мира, которые истребляют самих себя.

Я испытываю боль за дагомейский, киргизский, болгарский, корейский народы, ибо плохо их знаю и ленюсь узнать лучше.

Я страдаю за мексиканский и индийский народы, потому что у них культура сильнее цивилизации.

Я испытываю боль за канадский народ, потому что у них цивилизация сильнее культуры.

Я испытываю боль за белорусский и украинский народы, потому что они — соседи.

Я испытываю боль за армянский народ, потому что его порезали турки в 1915 году, но и смуглые руки турецких боевиков, уставшие от резни, мне тоже жалко до слез.

Я испытываю боль за лапландский народ, эскимосов и чукчей, потому что они не умеют пить.

Я испытываю боль за японский народ, потому что он тоже пить не умеет.

Я жалею червей, жрущих трупы.

Я нервничаю за еврейский народ, потому что с ним всю жизнь поступают некрасиво.

Я испытываю боль за татаро-монгольский народ, потому что русские беспощадно разгромили его на Куликовом поле, и за древнегреческий народ, потому что его фактически не стало.

Я испытываю боль за сенегальский народ, который я давно не навещал и, признаться, не помню в лицо.

Я испытываю боль за фрейдистские, униатские, мясоедские, мармонские, лесбиянские, скорпионские, неметапсихозные, гастритные, педофильские, половецкие, маниакально-депрессивные народы, потому что они до сих пор не обрели самостоятельность.

Я испытываю боль за христианский и буддистский народы, потому что они не попадут в мусульманский рай.

Сердце болит за народы третьего мира, за существ других измерений, за мелких бесов, самоубийц, вурдалаков, сусликов, домовладельцев, раненых птиц.

На острове Капри цветет миндаль. Всех очень жалко.

И за русский народ я испытываю боль. Все-таки не чужие люди. Я испытываю боль за русский народ, потому что он вял и сир, а я излучаю энергию. Когда-нибудь я поделюсь с ним своей энергией. Но еще не настало время.

КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ

Вчерашняя мода — самая не мода. Зато позавчерашняя — забава искусствоведа. В забаву превратился соцреализм. В сталинских небоскребах видится не столько ностальгия, сколько талант. Соцреализм объявлен продолжением авангарда, а не его палачом: они вместе мечтают об изменении жизни и, взявшись за руки, выходят из берегов искусства.

Теперь не время простодушных людей, самородков, энтузиастов, борцов за правду. Теперь безжалостный постмодернист определит степень твоего интертекстуального невежества; концептуалист отметит дозу твоей творческой замутненности, нечистой приверженности не к тексту, к смыслу. То есть ничего не случится, но читать не будут, не стоит.

В таких условиях мало кто выживает, и не жалко.

Но в таких условиях шестидесятник должен застрелиться вне всякого сомнения, хотя бы на время, до следующего витка, пока из трупа отца не превратится в скелет деда. И хотя постмодернистов ожидает скорее всего и скоро та же участь, об этом не принято думать, равно как и ругать шестидесятников: это не модно. Это даже не смешно. Пусть те сами хоронят своих мертвецов.

Неблагодарность писателей почти мифологична: ученики пожирают учителей, чтобы в свою

очередь быть пожранными. Никто никому не поможет. А если кем заинтересуется широкий читатель, тот гибнет первый.

На этом жестком фоне аксеновская проза выглядит голо и мазохично. Только гуманист пощадит, но гуманисты теперь не в чести. Нужно немножко перетерпеть. Завтра будет легче, чем сегодня. Когда свергнут постмодернистов, утвердятся романтики начала двадцать первого века. Те-то протянут руку незаслуженно забытым шестидесятникам. Те-то проклянут в очередной раз соцреализм как страшный сон. Снова можно будет ругать Сталина, и народятся новые наивные самородки.

Но пока все-таки остались, не вымерли друзья-шестидесятники, открывавшие Запад в таллинских кофейнях и на джазовых предтусовках, аксеновская проза будет греть сердца некоторых (многих тысяч) людей.

И пока я не позабыл того июньского вечера 1966 года, когда Василий Павлович в зените своей славы вошел вместе с опальным Бродским в квартиру Евтушенко, чтобы найти тайный способ напечатать Бродского в «Юности», и, казалось, все будут всегда молодыми, а дружбе не видно конца, и я, случайный юный соглядатай, бескорыстно ликовал при виде такой великолепной дружбы... а это,— сказал Евтушенко, показывая на меня своим друзьям,— гениальный исследователь Хлебникова... друзья поглядели на меня с интересом... Аксенов — с большим, Бродский — с меньшим... Вася,— сказал Аксенов с боксерским оскалом... Иосиф,— без улыбки сказал Бродский... я принес Евтушенко свою курсовую рабо-

ту филолога-первокурсника о неологизмах Хлебникова... я залился краской... на евтушенковских стенах висел авангард... Евтушенко всех расставил по местам... он выдал нам на троих новейшую игрушку нью-йоркской полиции: walky-talky... а сам спрятался со второй половиной игрушки в уборной... «я вам прочту сейчас свои новые стихи...»... мы прильнули к игрушке... Аксенов с интересом, Бродский — без... Я — Гойя!.. — вдруг звонко, по-евтушенковски, зашипела игрушка... все грохнуло... шутка удалась... неслыханный джин с тоником потек в четыре горла... Евтушенко открыл ящик письменного стола... там валялись невиданные зеленые деньги... курили только **Winston**... тут Бродский вставил, что ему в деревенскую ссылку слали **Kent**... ящиками... он обклеил **Kent'**ом стены... это тоже произвело впечатление... хотелось быть тоже сосланным в ссылку... под утро для меня нашлась работа... с грехом пополам я переводил им лестные американские статьи о них же самих из толстого профферовского *три-квотерного* журнала... некоторые лестные эпитеты я на ходу придумывал сам, из чистого умиления... меня удивило, как плохо все трое знали английский... или мне показалось после джина?... когда совсем уже рассвело, мы с Бродским сели в одно такси... я — вперед... он — на заднее сиденье... через несколько минут из его рта потекли какие-то неопределенные звуки... я нервно оглянулся... это я так стихи... — спокойно заметил поэт... я присутствовал при священнодействии... у Белорусского вокзала мы расстались в общем-то навсегда... «здесь каждый второй на улице похож на Бродского...

посмотри... вон стоит у светофора... похож?.. город Бродских...» — говорил мне Аксенов за рулем «мерседеса» в Манхэттене где-то на уровне 1988 года... и желчно, сильно морща нос, смеялся... осенью 1994 года в Торонто мы снова оказались с Бродским вдвоем в одной машине... не обращайтесь на меня внимание,— сказал лауреат Нобелевской премии... меня нет... это только одна оболочка... я утром прилетел из Милана... а я из Москвы,— сказал я... из Москвы?— слегка усмехнулся Бродский...— разве она еще существует?.. я наскоро сбил референтную группу общих знакомых... А, Женька!..— рассеянно отозвался он о том, кого как-то раз назвал своим учителем... А у Б.,— сказал я,— какие-то серьезные неприятности с головой... Бродский задумался... он выживет,— сказал он уверенно и не ошибся,— ему еще рано умирать... а помните,— спросил я,— вечер у Евтушенко?.. мы поднимались в скоростном лифте на последний этаж небоскреба... на писательский банкет с фейерверком... неожиданно Бродский по-человечески улыбнулся... и, пока я *все это* не забыл, для меня «Звездный билет» — литературная веха, переворот в головах, маленький шаг одного писателя, но большой сдвиг российской ментальности, если вспомнить долетевшего до Луны астронавта. И книги, следовавшие за «Звездным билетом»,— утверждение меняющейся ментальности, новый трепет, торжество дерзости, к счастью для всех, превратившейся сначала в общее дело, а уже после в общее место.

Писатели, выросшие на Аксенове, знают: это он открыл правила новой литературной игры, в условиях морального гнета первым ослабил гал-

стук-удавку, и стало свободнее писательским
шеям. И он радовался не только за себя. В нем
всегда была редкостная щедрость.

Стоит ли придирается к безвкусице и ком-
сомольским коннотациям его героев, тем более,
что сейчас это даже — ну да — забавно? А то,
что «старик Хэм» и маэстро Набоков стали его
интертекстуальными друзьями, то так распоря-
дилась доборхесная эра.

Дело не в «чуваках» и длинноногих «чуви-
хах». И не в литературной истории. А в том, как
свежи были розы.

ЦЕНА ПРОСТИТУТКИ

Каждая женщина торгует своим телом. Поцелуи дарит, как пробные флакончики духов, а остальным торгует. Удачно и неудачно, по-крупному или по-мелкому, осознанно и неосознанно. Или же *нео-неосознанно*, как феминистки.

Женщины обидчивы. Их обидчивость, готовая проступить на поверхность в любой момент женско-мужских отношений, обнажает законы рынка.

— Почему ты не даришь мне наборы шоколадных конфет?

— Почему не приглашаешь в дорогой ресторан?

— Почему он меня не домогается?

Это не игра. Это — рыночные претензии. Многие женщины целиком состоят из претензий. Многих женщин заслуженно называют стервами.

— Почему мы не переезжаем в новую квартиру?

Несостоятельный мужчина выталкивается вон. Современная статистическая русская девушка не прочь взвешенно менять мужика «похуже» на мужика «получше» на мужика «еще получше» до бесконечности.

Исключения бывают. О них поют в песнях.

Если мужчина не уважает законы рынка, он — *говно*. Или — урод. В зависимости от обстоятельств. Если мужчина теряет интерес к женщи-

не, он хуже говна. Женщина не допускает даже мысли о том, что ее можно разлюбить. Женщина звереет, когда чувствует, что падает в цене, что ее *прелести* затовариваются. Вот тогда она выпцарапает вам глаза.

Женские *прелести* хороши в сборе. Они не выдерживают длительной деконструкции. Груди-сиськи превращаются в куски натурального жира.

Почти все женщины оценивают себя неадекватно. То есть они себя переоценивают. Уродки считают себя симпатичными, симпатичные — хорошенькими, хорошенькие — красотками, красотки — красавицами, херувимы — архангелами. Попадается немало уродок, перепрыгивающих через все ступени. Нет ни одной, которая считает себя дурой. Заплетет косички, наденет тютетеечку.

— Правда, я на турчанку похожа?

— На кого?

— На турецкую женщину!.. А правда, у меня из письки тянет *вкусным* жареным луком?

— С чего ты взяла, что *вкусным*?

Острый дефицит *недооценивающих* себя женщин.

Есть нации и культуры, которые запросто *умеют* покупать и продавать женщин. У грузин в советские времена эта торговля была доведена до совершенства.

— Девочка, на тебе тыщу рублей. Слушай, сделай минет. Только руками не трогай, да? Руками каждый умеет.

Грузин покупал девушку, чтобы красиво унижить. Проститутки, если жалуются, жалуются

на то, что главное удовольствие мужчины — заставить их ползать на четвереньках.

— Мало не покажется, — усмеваются проститутки.

Русская *высокая* культура этого в принципе не выносила. Ее передергивало от купли-продажи. Она была уникально немеркантильна. Не вникая в суть дела, не вдаваясь в подробности, она объявила женщину бесценной. Именно поэтому русская культура так напряженно относилась к проституции. Сонечка Мармеладова. *Живые*, а — продаются. Среда заела. Все плакали и жалели. Интеллигенция задумалась, как бы *это* искоренить.

Интеллигенция (как мозг нации) вообще никогда не могла понять, что женщина тоже любит ебаться. Татьяна Ларина *кончает*? Ну, что вы такое говорите! Этого не может быть! Анна Каренина? Но ее тоже среда заела!

И только русский крестьянин, вечный хам, утверждал, что хорошая жена на хую не дремлет.

Проститутка проста, как жизнь.

В духовном споре с крестьянином победила интеллигенция. Проституцию искоренили, но как-то очень искусственно. Рынок ушел в подполье. Женщины научились себя продавать по какому-то сложному безналичному расчету.

Счастье не наступило, но все запутались.

А теперь вот проясняется.

СОЛЖЕНИЦЫН И ДЖЕЙМС БОНД

По логике вещей, они должны быть союзниками. Оба — борцы против тоталитаризма. Обоих гноит КГБ. Казалось бы, их поражение неминуемо. Но нет! Оба изобретают различные средства самозащиты и, пройдя через сказочные испытания, не только остаются в живых. Они побеждают.

Однако сказать, что Солженицын и Джеймс Бонд — близнецы-братья, — не поворачивается язык. Враг — общий и цели благие, а тем не менее трудно представить себе, чтобы они сели вместе где-нибудь на Бермудах у кромки бассейна с голубой водой и, сося через соломинку джин-энд-тоник, обменялись опытом диверсантов.

— Я слышал, что вы неплохой писатель, — улыбнулся Джеймс Бонд.

— Лучше не бывает, — польщенно хохотнул Солженицын.

— Как там теперь, в России? — поинтересовался английский агент.

— Да херово, — помрачнел Солженицын.

— Почему? Ведь Горбачев вернул Россию в свободный мир!

— Свободный от чего? От морали? — еще больше помрачнел писатель. — *Твой* Горбачев — сукин сын!

— Не расстраивайся, мой русский друг! — погладил его по бывшему эковскому плечу Джеймс Бонд. Солженицын криво улыбнулся в ответ.

Оба — в черных очках от Армани.

На Джеймсе Бонде: белая хлопчатобумажная маечка, черные брюки в серую полоску, подтяжки и носки — Уго Босс.

На Солженицыне: черный велюровый халат, серые облегающие трусы, черные домашние тапочки с солнечными львами в кружочке.

— Домашние тапочки тоже от Версаче? — придиричливо спросил Джеймс Бонд.

— Все от Версаче, — скромно сказал Солженицын.

Красиво, но несбыточно, а жаль.

Слишком разные люди.

А ведь мог бы стать всенародным героем, как Джеймс Бонд! Семь лет лагерей, затем один на один «бодался с дубом», победил смертельную болезнь. Тайники, стукачи, западные журналисты, обезумевшие гбешники. Весь мир рыдал над книгой. Яркая, запоминающаяся высылка из страны. Дружеская рука Набокова. Какой суперменовский список! Где ошибся? Когда?

Не хватило джеймс-бондовской иронии и самоиронии.

Не хватило джеймс-бондовской или *гагаринской* улыбки.

Не хватило обалденной блондинки и смокинга. Не хватило большого, крупнокалиберного пистолета. Не хватило «приколов» и местного колорита. Не хватило веселья, реактивного полета, красивых жестов.

Не хватило ума подмигнуть перед тем, как «бодаться». Не возвысился над русской материей. Джеймс Бонд и не стал бы «бодаться».

Слова не те: дуб, теленок. Не та харизма. Победили русская угрюмость, русская сексуальная затхлость.

Подвели серьезность и тесный френч.

НЕ МУЧАЙТЕ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА!

Творческий человек ворует энергию, необходимую для творчества, из всех карманов бытия. Гомосексуализм здесь — не исключение, это — тоже *карман*.

Художник не имеет возраста. В этом его преимущество перед людьми. Был ли Пикассо стариком, дедушкой, прадедушкой, импотентом или, напротив, могучим мужчиной — какая разница, если он — Пикассо.

Нет, однако, более грустного в мире зрелища, чем вид *стареющего гомосексуалиста*. Мужская опустившаяся, свалывшаяся красота, дряблость щек, подкрашенные виски, разбалансированная жестикуляция, не достигающая никакой цели, а уж тем более цели «понравиться», и, главное, глаза, совершенно собачьи глаза — все это противно и щемяще жалко одновременно. Редкий гомосексуалист (см. выше о Фрэнсисе Бэко-не) имеет золотую осень. Евгений Харитонов не дожил до осени. Он умер в сорок лет на московской улице в жаркий летний день от разрыва сердца.

Не напечатав при жизни в России ни строчки, Харитонов *переживает* сейчас пик посмертной славы. Предчувствуя стилистический ход времени, он первым из русских литераторов протянул руку рок-культуре, став руково-

дителем группы «Последний шанс». Ныне он классик российской гей-культуры, его имя — пароль.

Едва ли он достоин столь *блестящей* участи. «Мущина» (как Харитонов любил писать это слово) других измерений, он был далек от сытого, триумфального урчания, свойственного освобожденной однополой любви.

Давным-давно, прочитав в самиздате короткую повесть Харитонова «Духовка», я испытал острое чувство зависти. Не знаю более высокой оценки текста. Вырываясь прямо из подсознания, она либо стимулирует, либо делает тебя беспомощным. Помню, как я переполошился. Это был мой современник, всего на шесть лет старше меня, который оторвался в общем забеге и которого хрен догонишь.

Мы никогда не стали друзьями. В первый вечер знакомства мы едва-едва не подрались в жуткой, громыхающей подмосковной электричке, возвращаясь со свадьбы общего приятеля. В тамбуре я с брезгливой гримасой сказал Харитонову, что на своем *тщедушном, богобоязненном* гомосексуализме он делает литературную карьеру. Я был пьян, несправедлив и никогда не извинился. Несколько незначительных встреч в окололитературных компаниях. Неожиданно хорошая последняя встреча. Мучнисто-бледный, с кусачим взглядом, он рассказывал, как к нему в маленькую квартиру нагрянула милиция с угрозами и он от волнения упал в обморок, разбив головой стеклянную дверь кухни. Мы вдруг сошлись во всех мнениях, объяснились в общей любви к Добычину, после чего он стал

мне делать «мужские» комплименты, от которых я, замаявшись... я просто пожал плечами.

Испытал ли я подлое облегчение оттого, что он умер? Во всяком случае, меня еще долго ломало от зависти. На его поминках богема много блевала. Какая-то женщина, сняв туфлю, стала мерно бить своего соседа острым каблуком по голове.

Затем включился *голубой* счетчик, и все замелькало.

Настала эпоха, когда молодые, веселые люди, с эстетически *правильной* томностью, перетрахахи друг друга и всех вокруг. Они носили длинные итальянские пальто. Когда не хватало, кого трахать, они ехали на Киевский вокзал и за шоколадку *снимали* солдатиков-отпускников. И очень много об этом весело рассказывали.

Потом пришла пора, когда в театрах Виктук стрелял под овацию из «Рогатки», а про каждого знаменитого мужчину журналисты говорили, что он — *голубой*, и выяснение голубизны стало темой.

Потом гомосексуализм победил окончательно, и куда-то незамедлительно провалился как предмет модного разговора.

Харитонов же как тема сохранился.

«Я мышка. Я быстро-быстро бегаю, ищу сухарик» — его словесный автопортрет из книги «Под домашним арестом», звучащий как вызов духовным драмам русской культуры. Кому что, а Харитонову — сухарик.

Название «Под домашним арестом» — метафора *дважды* подпольной (литературное диссидентство и гомосексуализм) жизни. Весь Хари-

тонов — из осколков: проза, стихи, дневниковые записи, обозначенные как «слезы на цветах», фрагменты писем и лукавый манифест «Листовка», утверждающий, что «все вы — задушенные гомосексуалисты».

Наверно, это преувеличение, полезное в круговой обороне. Признаться, я не вижу проблемы ни в «биологическом» гомосексуализме (где просто нет выбора), ни — в «социальном» (где многое построено на выборе и сознательном переходе из игры с обстоятельствами через *границу* в иное существование), за исключением проблемы насилия и *сращения* (роль, отведенная жертве, возбуждала и беспокоила Харитонову). Гомосексуализм — не входной билет в эксклюзивный мир, не повод для гордости, но и не причина для унижения. Гомосексуализм — *направленная* форма страсти.

— Я девушка, — улыбается мне любимый народом рокер в ночном клубе, приняв стакан. — Понюхай, — подставляет щеку, — как я пахну!

Я ничему не удивляюсь. Женщина живет, наверное, в каждом мужчине, даже в тех, кто никогда в жизни не мечтал надеть женское белье, а *фантазмы* (на то они и фантазмы) охотно питаются всем, включая самые дикие картинки однополрой любви.

Фантазмы — проверка нации на сексуальную зрелость. В России слово еще не привито, понятие не отрефлектировано. На что дробится русский мужчина? Мужчины *дробят*, а на что в *своей голове* они дробят? На розовый туман? На гладкокопых малолеток? На расстегнувшийся чулок из голливудского фильма 50-х годов? На

коллективное изнасилование, в котором они принимают участие?

Ау!

Однако в России, при всем богатстве «фольклорного» мужеложства, терпимость рифмуется с домом терпимости и гомосексуализм, несмотря на все победы, по-прежнему остается половой ересью в среде «нормальных», «мещанских» людей.

Впрочем, где-нибудь на Среднем Западе дела, в сущности, обстоят не лучше, при всей их *политической корректности*. Природа не сдастся. Она не перестанет подчеркивать жизненный интерес детопроизводства.

Певец слабости как «силы тончайшей, недоступной, невидимой тупому глазу», Харитонов верил в то, что после евангелиста Иоанна и Оскара Уайльда он третий по значимости писатель в мире.

Если эта вера дала ему возможность писать несмотря на травлю, значит, он был прав. Во всяком случае, первооткрывательство (в брежневской России) и сама *запретность* гей-темы подсказали писателю пластичный, *страдательный* стиль, его особую «легковесную цветочную разновидность». Возникло *новое письмо* о любви: страстное, предельно откровенное и застенчивое, задышающееся, по внутреннему напряжению предынфарктное. Со времен Тургенева такой чистой, трепетной любви не знала русская литература.

А из-под земли раздается харитоновский голос:

— Не мучайте меня, пожалуйста!

ОПИСАНИЕ ПРОТИВНИКА

Венгры были обречены на победу. Назвать ли ее победой самоотчетности? Их команда была столь красивой, что казалось, она состоит из одних вихрастых отборных гомосексуалистов, которым предложено поддержать честь национального гей-клуба. Они обладали всей полнотой теологичности и телесности. Это сочетание сильнее рекламного клипа. Оно неопровержимо.

Футбол — тривиальная метафора жизни. Он требует вовлеченности. Венгры были вовлечены в жизнь до такой степени, что у них не осталось никакой *трансэнергии*. Они были имманентны футболу. Они были имманентны бутербродам, которые они ели, воде, которую пили, и сигаретам, которые они выкурили накануне. Они были бесконечно имманентны осени в Дроме, революции в Венгрии и всем книжкам, которыми были забиты их головы. Создавалось впечатление перекрестной и, быть может, кольцевой имманентности: их улыбки были имманентны иронии, а их ирония была имманентна осени в Дроме, а осень в Дроме, благодаря венгерской революции, а также прочитанным книжкам, в конечном счете оказывалась имманентна их улыбкам и общей тавтологичности.

Футбол — *c'est les droits d'homme*. Право человека на владение футбольным мячом соответствует спортивной конвенции *умеренной* агрессивности. Нельзя убивать и калечить нельзя,

но подыгрывать противнику тоже нельзя: не принято. Да, но почему все же не принято убивать вратаря противоположной команды? Ведь *such a murder, such a murder, such a murder* (такое убийство) помогло бы венграм довести матч до астрономического результата в свою пользу. Польза — нужное, неволшебное слово. Или, напротив, всей командой начать забивать голы в свои ворота к *некоторому* удивлению французского рефери с симпатичными кривыми ногами, выросшими из какого-нибудь французского комикса и с многозначительными инициалами ЖД, вышитыми у него на груди (чем?) красной нитью, (кем?) любимой рукой жены-чешки.

Впрочем, удивление рефери могло быть вполне показным. Не он ли, подмигнув, шепнул мне во время матча (я вбрасывал мяч из-за боковой), что «самосознающая рефлексия, сколь бы долго она ни двигалась к цели, никогда не достигнет Итаки»? Это было не столько мне в утешение, не столько скрытая цитата, сколько прописная истина, известная еще по работам Шестова, но тот факт, что ЖД на досуге работает рефери в черной форме, показался мне противоречием в себе, *нарушением общезначимых правил аргументации*.

— Все годится! *Avanti! Anything goes!*

Венгры же вели игру таким образом, как будто хотели возразить и задать вопрос:

— Значит ли это, что хайдеггеровское величие состоит в молчании перед лицом Освенцима?

Ах, в этом *нарушении* и был свой кайф, недоступный венгерской команде. Поскольку

исподтишка они чинили насилие над «диссеминальной» реальностью (адепты *лингвистического поворота* рассматривают ее как языковую) и строго контролировали *les effets du sens*, венгры не могли остановиться. Им бы упасть и поваляться на мокрой после дождя траве с видом на дромские горы, принципиально отказываясь дотрагиваться до мяча. Или, на худой конец, устроить на поле коллективный гомосексуальный акт, мужскую гирлянду, мужеложскую пирамиду, вполне уместную на родине божественного маркиза. Болельщики, побросав зонты на фрейдистской подкладке, могли бы их подержать.

Однако критика разума, если она желает сохранить хотя бы минимальную силу диагноза, не должна быть тотальной. Высморгаться под ноги — да, пожалуйста! вспотеть красивым мужским потом вместе с дезодорантом — черт возьми, да! да!, но *разборке до основания* надо уметь сказать свое венгерское «нет».

Умеренная агрессивность венгров в любительском матче, их *умеренное* продвижение вперед, их плавные пässe, звуки голосов, горное эхо логоцентричных голов создавали мягкое впечатление жизненного континиума внедискретного свойства, то есть такого состояния жизненного *полотна*, на котором не обнаружить ни дыр, ни разрезов насквозь.

Жизнеутверждение человеческого достоинства и семантической предсказуемости одержало уверенную победу.

ХОРОШИЙ СТАЛИН

Я родился в 1947 году. У меня было счастливое сталинское детство. Чистый, безоблачный рай. В этом смысле я готов соревноваться с Набоковым. Я тоже был барчуком, только он — аристократическим, я же — номенклатурным.

В послевоенной полуголодной Москве бабушка звонила маме на работу с восторженным докладом о моем завтраке:

— Витюша съел целую баночку черной икры!

Папа приносил домой из кремлевского продуктового распределителя синие пакеты со вкуснейшей едой: хрустящие сосиски, тонкую «Докторскую» колбасу, буженину, семгу, балык, крабы («Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», — гласила одна из редких цитовых реклам того времени), халву, бледно-розовую фруктовую пастилу и прочие деликатесы. Иногда на пакете проступали темно-красные пятна: это сочилась кровью свежая говяжья вырезка. До сих пор помню острый запах свежих пупырчатых огурцов с желтой завязью цветка в разгаре зимы с расписным от морозных папоротников кухонном окном. Кулинарная книга сталинских времен «О вкусной и здоровой пище» с элегантными коричнево-белыми фотографиями застольного изобилия, кулебяк, судаков по-польски, жаренных в духовке молочных поросят и грузинских марочных вин в нашем доме не выглядела издевательством над человеком. Я был худ и есть не любил. В борьбе за мой аппе-

тит бабушка прибегала к вонючей пытке рыбьем жиром. Ее мечта превратить меня в толстого ребенка однажды осуществилась, и мы бросились, ловя момент, к фотографу, чтобы сняться в обнимку, прижавшись щеками. Привилегии, нежно клубясь, окутывали всякие стороны жизни: от бесплатного ежегодного пошива для папы модного костюма из привозного английского сукна, поликлиники с ласковыми докторами детских сказок, чистого, охраняемого подъезда, поскольку на нашей лестнице жил всесильный начальник сталинской охраны товарищ Власик, новогодних елок в Кремле с нештучными подарками и театральных билетов на любые спектакли, вплоть до забронированного места на Новодевичьем кладбище.

Летом на длинном черном ЗИМе, похожем на *зубастый* американский автомобиль конца 40-х годов, мы выезжали жить на совминовскую дачу под Москву. Там в утренних рощах мы шли, согнувшись под прямым углом, на белый гриб. Там в безразмерные июньские сумерки, одурев от велосипеда и черемухи, с отрыжкой парного молока на чувственных, недетских губах, я играл на дощатом крыльце в шахматы с домработницей Марусей, за которой ухаживал наш шофер в черной кепке.

Рожденный победителем (меня назвали в честь победы над Германией), я выиграл у Маруси первую шахматную партию в своей жизни. Мир был полон добротных вещей: фонарей, высотных зданий, станций метро, парковых с выгнутой спинкой скамеек, на одной из которых зимой, в Сокольниках, несмотря на метели, мы продолжали свой бесконечный турнир. Шахматные фигуры «ходили» по пояс в снегу. Я заходил-

ся остаточным кашлем от коклюша; она, смешливая, утирала нос варежкой с дыркой. Мы были равными партнерами, много «зевавшими», путавшими «офицеров» и «королев», и по характеру оба — шальные. Я медленно учился проигрывать. Порой со слезами я бросался в Марусю конями и пешками; помирившись, мы вместе вылавливали их из талой воды. Весна всегда наступала вдруг, застигнув нас на обратной дороге к метро ручьями, лунками вокруг лип, промокшими ботинками, новым, разреженным солнцем, воздухом. Семья с прислугой, родственниками, ближайшими друзьями складывалась в надежный клан. Я жил как у Христа за пазухой.

Своим рождением я обязан такому крошечному нагромождению историко-революционных, военно-мирных обстоятельств, что вынужден признать его делом голого, но по-своему филигранного случая. Плод «случайного семейства» *par excellence* я, скорее всего, среди всевозможных гербовых атрибутов, не без помощи поэта Осипа Мандельштама, выбрал бы для себя *кривой кий, щербатый шар и дырявую лузу*, хотя бы потому, что ни мой отец, ни я никогда не были приличными бильярдистами. Даже ближайшие предки в моем сознании живут безымянно, определяемые на скорую руку полустершимися профессиями, иногда подлинными, вроде артельщика или попа, иногда сугубо фиктивными, вроде профессионального революционера, каковым бабушка не без тайного умысла прописала в моей памяти своего неведомого мне отца. Бабушка вообще была выдумщицей. Правда, со стороны моей мамы мы имеем легкое касательство не

только к *личному* и потому мало внушительно-
му дворянству ее деда, но и через весьма запутанную систему свояков и своячениц, а точнее, через довольно красочный род Кьяндских, к русской культуре: изобретателю, по крайней мере национального, радио Попову, а стало быть, к семейству химика Менделеева, а стало быть, в конечном счете, Александру Блоку. Но это даже не десятая вода на киселе, а так, семейные опивки.

Не зная, с чего начать разговор о *частном* заговоре обстоятельств, противных чести и здравому смыслу, я бы все-таки остановился на малоизвестной, неудачной англо-американской интервенции под Мурманском после Октябрьской революции. Как-то по телевизору показали *их* развалившиеся заснеженные могилы. Бабушка-выдумщица по отцовской линии, Анастасия Никандровна Рувимова, была очень хороша собой. За ней ухаживал рослый человек с черными красивыми крутами под глазами по имени Иван. В 1918 году бабушка перебралась с семьей из Петрограда в Карелию, спасаясь от голода. Иван не скрывал своих намерений жениться на Анастасии, но тут напали американцы.

Один молодой *коварный* человек в пенсне служил на Карельской железной дороге бухгалтером. Большевики сделали его ответственным за мобилизацию. Прельстившись красотой моей бабушки, Иван Петрович Ерофеев первым внес в мобилизационные списки рослого Ивана, хотя тот имел белый билет. Ивана забрили, послали под Мурманск, и он пропал без вести в схватке с американцами.

Далее — оперная вставка. Слышится ария Татьяны из оперы «Евгений Онегин»: *«Но я другому отдана. Я буду век ему верна...»*. В 1920 году, вернувшись в Петроград, Анастасия Никандровна случайно на улице встретила своего *первого* Ивана.

— Поздно, Ваня, — сказала бабушка, уже беременная моим отцом.

Американцы, по-моему, *не зря* гибли под Мурманском. Впоследствии, чтобы жилось веселее, бабушка разрисовала яркими аляповатыми красками генеалогию своего мужа. В результате мой прадед Петр Ерофеев картинно вышел деревенским сексуальным богатырем в смазных сапогах, зажиточным мельником в тереме с кружевными наличниками, сменившим множество жен, отцом девятнадцати сыновей, последний из которых родился, когда ему было под восемьдесят. Сам человек в пенсне раскрашиванию не поддавался, но был отмечен кротким нравом, рассеянностью, подтвержденной историей с «эскимом», растаявшим у него на прогулке в зоопарке в воскресных брюках, и тем, что бабушку в сердцах звал «комиссаром», что смутно отражало его настроения после чекистского переплета на Гореховой, куда его привели на допрос, под горячую руку Феликсу Дзержинскому, потребовавшему от него под дулом револьвера указать тайник с золотом, которое у деда не водилось. В моих генах так прочно засела смерть, что первым младенческим впечатлением стал дачный электрический столб с черепом и костями; столб ужаса: дотронешься — убьет. Когда бабушка по молодости лет решила записаться в большевички, чтобы участвовать в продразверстке, дед пригрозил:

— Вступишь в партию — разведусь!

— Жаль, — сказала мне бабушка в детстве. — А то была бы ветераном партии, по радио выступала бы.

В 1920-е годы супруги, вместе с полстраной, записались в брюзжащие обыватели, с мукой вставлявшие в социализм. У них-то и родился мой отец, который благополучно дожил до восьми лет и утонул на каникулах в Волге — *чудом* откачали. Отец кончил школу на одни пятерки, подал документы в железнодорожный институт, затем — в Арктический, а стал *случайно* учиться в третьем: пришло на ум поехать сражаться в Испанию добровольцем. Не имея призвания к филологии, равнодушный к «художественной литературе», он поступил на филфак Ленинградского государственного университета, чтобы во имя мировой революции выучить испанский язык. Худой, в *единственной* коричневой велюровой курточке, он уже был хорошо сложившимся советским человеком, волевым комсомольцем до мозга костей.

— Товарищ Ерофеев, — спросит его через десять лет Сталин в своем кремлевском кабинете. — Вы где родились?

Сталин, по словам отца, всегда говорил «очень глухо, и грамматически у него было много ошибок». Было четкое впечатление, недавно добавил он, что это человек «кавказской национальности».

Отец недорасслышал вопрос вождя:

— В Ленинградском государственном университете, Иосиф Виссарионович.

— Прямо так-таки в *Университете* и родились?!

В огромном, строгом кабинете с посмертной белой гипсовой маской Ленина на видном месте раздался резкий глухой смех. Отец вздрогнул от неожиданности. Сталин смеялся, хватаясь за бок, всем видом показывая: «ну, ты меня уморил!», «ой, не могу!».

Отец был замечен.

Его предшественник, переводивший Сталину с французского языка, был отстранен от работы, запутавшись в авиационной терминологии военной делегации из Парижа. «У меня такое впечатление, что я французский знаю лучше вас», — сказал ему Сталин.

— Ну, вы спокойно работайте, не волнуйтесь, — отсмеявшись, пожелал Сталин отцу на прощанье. — Я говорю не очень громко, вы можете переспросить. Зато я говорю медленно.

— Сталин держался скромно. — отметил отец. — На меня сильно подействовал его шарм.

Однако развеселить Отца Народов мой отец смог только потому, что в юности каждый год в середине марта он становился жертвой загадочных ангин с нарывами в горле и сорокаградусной температурой. Поступив на филфак, отец и не подозревал, что российская филология не менее опасна для жизни, чем Гражданская война в Испании. «12 марта 1939 года я снова валялся в постели и страшно переживал, что из-за болезни не могу участвовать на вечеринке. Наша группа справляла день рождения однокурсника, поэта Сергея Клышко. Всех, кто был в тех веселых гостях, на следующий день арестовали как участников «антисоветского сборища».

— Меня это потрясло. Но я знал, что Сергей не стеснялся в поведении, рассказывал анек-

доты, читал «антисоветские» стихи. Наверное, кто-то стукнул. Девушек вскоре выпустили, а ребята сели надолго, кому-то переломали ребра, отбили почки. Сергея приговорили к «вышке».

— За стихи — к «вышке»? — меланхолично спросил я.

— Мне было ясно, что не стоило их читать направо-налево.

С этим было трудно спорить. Наш разговор пошел по кругу и быстро угас. Массового террора, который был вокруг, везде, рядом, о котором написаны тысячи книг, в моей семье не заметили. Он их «не коснулся». Не отмахнулись от него, не забились в угол, а — не обратили внимания. Как? Отец вышел в люди особого, внеиндивидуального зрения. Благодарность режиму за возможность высшего образования, движения вверх — *ничто* сама по себе. Они *не использовали* систему, как проходимцы, а пропитывались ею насквозь и видели ровно то, что она хотела, чтобы они видели. Они переставали *быть*. изначально подсознательно готовые к закланию. Система не столько убивала несостоявшихся поэтов, как это бывает при всех маломальски уважающих себя диктатурах, сколько питалась небытием. Жертвоприносительный террор был не прихотью, а логикой ее выживания, гениальным математическим выводом из разницы между обещанным будущим и человеческим материалом, отправленным на переделку. Успех мероприятия зависел как от русской податливости, так и от постоянного обновления, очищения от тех, кто держал в уме эту разницу. Будущее было как радостный вздох от снятия антиномии.

Я сначала удивился и понял — зря, когда отец сказал, что он не волновался в присутствии Сталина. В отличие от *волновавшейся* при виде вождя интеллигенции, у которой рождались от волнения анекдоты о Сталине, отец существовал одним из его *продолжений*, добавочным квантой света. Из этого положения трудно вернуться домой.

Мне ли осуждать приметы XX века? Случись на один выстрел, на одну освенцимскую печь меньше, глядишь, меня бы и не было.хлопоты по самопожертвованию задним числом не принимаются. В начале войны отец, в то время уже выпускник привилегированного московского Института переводчиков при ЦК ВКП(б), готовился в спецотряде к диверсионным актам в тылу врага. В последний раз перед отправкой за линию фронта он неудачно спрыгнул с парашютом, сломал ногу и попал в госпиталь. Вся группа, улетевшая без него взрывать мосты, была уничтожена. После госпиталя отца *по воле случая* пригласили работать в Народный Комиссариат Иностранных Дел, как тогда назывался МИД, поскольку большинство его сотрудников, брошенные в народное ополчение оборонять Москву в октябре 1941-го, погибли в окружении.

Заниматься коммунистическим сексом — все равно что выпить «стакан воды»? Ленина колотило от теории Александры Михайловны Коллонтай. Мой отец тоже не стал ее прозелитом. Почти всю войну он проработал в Швеции помощником советского посла, известной в 20-е годы бисексуальной защитницы свободной любви «трудовых пчел». Коллонтай давно уже не вы-

пивала свой «стакан», прикованная параличом к инвалидному креслу, и сублимировалась в большого политика.

Работа в нейтральной Швеции была, конечно, счастьем, было даже несколько личного времени, чтобы увлечься дочкой антифашиствующего Нильса Бора, но, по закону волшебной сказки, чтобы добраться до счастья, герою нужно подвергнуться смертельным испытаниям. Они обернулись многодневными немецкими бомбежками 150-судного каравана, вышедшего в море под англо-американским конвоем из Архангельска в Англию. Был приказ: никого не спасать. На глазах у отца утонули в Ледовитом океане тысячи людей. Английский тральщик, на котором он находился, доплыл среди 50 уцелевших кораблей. Если добавить к этому, что моя мама провела часть войны в советском посольстве в Токио, который нещадно бомбили американцы, то понятно, почему, женившись в 1946 году, родители дали мне мое имя.

Итак, папа работал в Кремле. Что он там делал, я знал нетвердо, но, когда мы с моими друзьями (зимой по глаза закутанные в шарфы, в цигейковых шубах, шапках, валенках и с маленькими лопатками, чтобы копать в парке Горького в снегу) проезжали мимо Кремля, я говорил им со знанием дела:

— Здесь работает мой папа и товарищ Сталин.

Маруся из присущего ей деревенского чувства пыталась изменить последовательность имен. Я был неумолим.

Папа был невидимкой. Он работал днями и ночами (сотрудники Сталина расходились по до-

мам, когда уже светало). Иногда по утрам я хотел подбежать к родительской кровати, чтобы посмотреть хотя бы, как он спит, но меня туда не пускали. Зато по воскресеньям и в праздники папа *материализовывался* молодым сероглазым человеком с косой челкой, и счастье переполняло меня.

Особенно я любил большие революционные праздники. Из уличного репродуктора с раннего утра неслись песни. Но я просыпался еще раньше, до музыки, от грохота танков, которые вместе с «катюшами» и прочей военной техникой веселыми игрушками неслись по нашей центральной улице в сторону Красной площади. Папа брал меня с собой на парад. Он надевал светло-серую дипломатическую форму со звездами генерала, и мне нравилось, как солдаты, вытягиваясь по струнке, отдают ему честь. Однако кульминация родного папиного величия произошла не на Красной площади, где я не заметил Сталина на мавзолее. Не знаю, как так случилось, но однажды, к моей великой радости, папа поехал со мной на дачу на обычном пригородном поезде, который вез красноколесный паровоз с особенно вкусным дымом. Мы вышли на дачной платформе в летнее утро, и папа в своей генеральской форме присел, не сходя с платформы, на скамейку, чтобы завязать шнурок, на секунду откинулся и заснул. К нам направился станционный милиционер. Ничего не говоря, он встал возле скамейки. Я подумал, что мы попали в большую беду и тихо, чтобы тот не заметил, стал плакать. С папиной головы свалилась фуражка, он проснулся и вопросительно посмотрел на милиционера.

— Что вы тут делаете? — недовольно спросил он.

— Охраняю ваш сон, товарищ генерал! — браво козырнул милиционер. Это был, бесспорно, лучший милиционер в моей жизни.

Мой папа никогда не болел. В кремлевских секретариатах болеть считалось нарушением дисциплины, а папа был дисциплинированным коммунистом. Вот почему я очень удивился, когда увидел его однажды с перевязанной рукой. Он легко уклонился от ответа. Мой детский рай был надстройкой взрослого ада, в котором случались странные повороты событий:

«Как-то мы закончили работу необычно рано, около часа ночи, — рассказывает отец. — Довольный, я вернулся домой и залез в ванну. Наслаждаться мне, однако, долго не пришлось. Жена (мама, когда кормила меня грудью, очень много пила чая с молоком для моего, по мысли тогдашних советских врачей, полноценного питания. Я ненавижу чай с молоком, даже запах его, до сих пор) забарабанила в дверь и сообщила (сочетание этих двух очень разных глаголов передает, как в кино, семейную атмосферу того времени, но я больше не буду), что меня срочно вызывают в Кремль; машина уже вышла. С мокрой головой я кинулся вниз по лестнице.

Личный лимузин Сталина по «осевой» домчал меня мигом до Спасских ворот. Миновав охрану, я вбежал на второй этаж дома правительства и помчался по длинному узкому коридору. На повороте я растянулся на скользком, как лед, паркете, до крови разбив кисть руки. Поднявшись, быстро перевязал ее носовым платком. В конце коридора

стоял главный помощник Сталина Поскребышев и во весь голос материл меня за нерасторопность. Продолжая извергать проклятия, он буквально схватил меня за шкуру и через тамбурную дверь впихнул в кабинет Сталина.

За длинным столом, друг против друга, сидели безмолвно две делегации: наша — из членов Политбюро и иностранная. «Большой хозяин» стоял посреди кабинета с трубкой во рту. Кивнув головой на мое приветствие, он указал мне на *свое* место во главе стола. Я выложил блокнот для записи на колени, чтобы скрыть пораненную руку. Сталин прохаживался взад-вперед за моей спиной своим неслышным шагом, в мягких сапогах. Я, как обычно, записывал и переводил.

Вдруг Сталин замолк. Он приблизился ко мне и, указывая на мой платок, спросил подозрительно:

— Что у Вас с рукой?

— Так, ничего, Иосиф Виссарионович, немножко ушибся, пустяки, — пробормотал я не очень внятно.

— Но все-таки? — продолжал он настаивать.

— Да так, упал, ничего страшного.

— Как упали, где?

В этот момент распахнулась дверь и в кабинет влетели врач с саквояжем и два ассистента, все чрезвычайно взволнованные. За ними следом — Поскребышев. Разговаривая со мной, Сталин незаметно нажал кнопку под крышкой стола и вызвал медпомощь. Решив, что с ним случилось неладное, там подняли панику. Заметя недоуменный взгляд врача, Сталин спокойно сказал:

— Посмотрите, что у него с рукой.

Врач подскочил ко мне и с помощью ассистентов быстро промыл и перебинтовал руку.

— Можете идти, — распорядился Сталин, и медпомощь выкатилась из кабинета столь же стремительно, как и появилась. Присутствующие молча следили за этой сценой. Беседа возобновилась».

История с рукой имела продолжение. После приема Сталин спросил у Молотова:

— Слушай, а почему наши переводчики не получают правительственных наград? Ведь они иногда работают с риском для своего здоровья!

Вскоре отец получил свой первый большой гражданский орден Трудового Красного Знамени. В его рассказах Сталин, оторвавшись от своих прочих имиджей, двигался по самостоятельной траектории, полный трогательной любви к фильму Рене Кларе «*Sous les toits de Paris*» (отец, переводивший вождю и фильмы, как-то заметил: «Я не знаю другого человека, который бы так любил кино, как Сталин»), «скромности», «добродушия», «гостеприимных манер». То он у себя на даче приходил, большой хлопотун, в комнату помощника проверить, какую постель ему постелили, мягки ли подушки, то с пониманием относился, казалось бы, к недопустимым вещам. Коллега отца, Иван Иванович Лапшов, выпив лишнего за ужином в кавказской резиденции вождя на озере Рица и заблудившись в коридорах, с трудом нашел отведенную ему комнату, сел за стол, выдвинул ящик и — протрезвел, увидев коллекцию трубок. За его спиной раздался голос «большого хозяина»:

— Что вы там роетесь в моем столе?

Бедный аппаратчик отделался всего лишь *жутким* испугом.

Но больше всего отец любил вспоминать многолюдный обед в Кремлевском дворце. Он сидит рядом со Сталиным и переводит неторопливую беседу с главным гостем. Вождь в парадном, кремового цвета мундире генералиссимуса находится в добром расположении духа, время от времени пригубляет бокал с вином. Молодые, подтянутые официанты снуют, четко меняя приборы после каждого блюда, выставляя на стол все новые тарелки с большими гербами Советского Союза. У отца они забирают почти нетронутую еду. Отец спокойно осознает, что и на этот раз он встанет из-за стола голодным. Когда переводишь, не успеваешь есть. Подают индейку. У официанта, поливающего блюдо брусничным соусом из-за плеча Сталина, дергается рука. Красные капли текут по кителю генералиссимуса. Стол замирает. Берия хмурится и ненадолго выходит из-за стола. Сталин даже бровью не повел. К нему подскакивает старший официант, лихорадочно трет влажной тряпочкой по запачканным местам. Сталин легким жестом останавливает его. Пропал и больше не появился молодой виновник происшествия. За столом вновь царит оживление, но без излишнего шума.

— Вот такое самообладание, — сказал отец.

— Расстреляли официанта? — спросил я.

— Не знаю, — пожал плечами отец.

Мы переплетены сходством улыбок, нетерпеливого подергивания ноги, интонаций до такой степени, что вместе составляем машину времени. Хотелось бы, впрочем, знать, куда она едет,

Я долго донимал отца вопросом: «Верил ли Сталин в коммунизм или же был просто-напросто советским империалистом?» Между двух полярных мнений о Сталине как о садисте и маниакальном убийце (мнение русской интеллигенции) и как о подвижнике-инквизиторе отец и сегодня склоняется к последнему. Интеллигенция — ему не указ, будто мне в испытание. Интеллигенция, например, ненавидела Андрея Александровича Жданова, ненавидела глухо, исподтишка, от всего сердца за уничтожение даже видимости свобод, за публичную казнь Ахматовой с Зощенко, а в нашей семье главный сталинский идеолог почитался как *спаситель* отцовских родителей. Из блокадного Ленинграда отец получил от моей бабушки прощальное письмо: они с дедом уже не встают, дистрофия, нет сил. Он написал Жданову просьбу о помощи. Через несколько дней в квартиру бабушки пришел военный человек с мешком продуктов и даже с вином. Работая в Кремле, отец смог лично поблагодарить Жданова.

— Да ну! — *скромно* отмахнулся тот.

Отец и сейчас вспоминает: «Жданов был активным, подтянутым, с быстрой реакцией. Я очень огорчился, когда узнал о его смерти. Мало кто знает, — добавляет он, — что Жданов фактически погиб на работе от сердечного приступа, отстаивая свою крайне непопулярную в ЦК позицию против послевоенной *советизации* Финляндии на манер Восточной Европы».

Мы сидим за столом и пьем чай в доме на переименованной улице моего детства. На Новый год стол сдвигался, и в угол ставилась пахучая елка до потолка. В мое воспитание изначально вкралась

ошибка. В Деда Мороза я верил все-таки больше, чем в Сталина. Когда в день моего пятилетия за тем же столом мой номенклатурный ровесник в первую очередь произнес тост «за великого Сталина, лучшего друга детей», я почувствовал кожей, как мои мама и папа чуть-чуть смутились, и, кривляясь, радостно скорчил торжественную гримасу. Все встали и чокнулись томатным соком.

— Я считаю, — говорит отец, — что Сталин не был политическим убийцей, который получал удовольствие от пыток. Это я не могу связать с его внешностью.

У отца на всю жизнь сохранилась привычка пить *жидкий* чай. Бабушка так никогда и не отучилась экономить на чае: я помню в доме микроскопическую ложечку, служившую исключительно для заварки.

— Не ты ли рассказывал мне о его «желтых, сильных глазах»? — спрашиваю я.

— У него был страшный взгляд, — терпеливо соглашается отец. — Он знал это и обычно прятал глаза. За святое дело он мог убить всех вокруг. Его репрессии базировались на вере. Он сумел внедрить в сознание нашего народа коммунизм. Умный человек. Взять хотя бы договор с Гитлером. Он даже с Молотовым не совещался. Ни один руководитель в Советском Союзе не совершил бы такого правильного драматического поворота. Мы подтолкнули Гитлера к войне с Западом.

Вызванный из Стокгольма работать помощником Молотова в 1944 году, отец стал очевидцем и проводником военной политики СССР. Во всяком случае, при его участии готовились проекты многих писем Сталина к Рузвельту и Черчиллю.

— Сталин вел войну в расчете на продвижение революционных идей в Европу. В беседе с Морисом Торезом, которую я переводил, он сказал, что, не будь второго фронта, мы бы пошли еще дальше и французские коммунисты произвели бы в своей стране необходимые перемены.

Еще до выступления Черчилля в Фултоне, Сталин, по словам отца, «делал ставку на третью мировую войну. Он мыслил мировыми категориями. В отличие от Гитлера, Сталин думал и о победе над США. Он *все* хотел. Он был последовательно направлен на всемирную революцию, на установление господства во всем мире».

— Я тоже допускал в перспективе возможность мировой революции, — добавил отец.

— Значит, *мы* развязали холодную войну? — спросил я, ловя себя на мимикрическом употреблении «мы» вместо обычного для меня либерально-интеллигентского, обращенного к советской власти «они». Отец не спеша кивнул головой.

— Ты любил Сталина?

На мой вопрос отец отвечал по-разному в разные годы. Сначала утвердительно, затем все более и более затруднительно. Но он никогда не отвечал отрицательно. Он видел в Сталине «магнетическую» личность мирового масштаба:

— Когда я увидел его первый раз, я опешил. Землянисто-смуглое, несвежее лицо было в оспинах. Левая рука висела без движения. Он поднимал ее другой рукой, закладывая в карман. Но, даже сидя спиной к двери, я чувствовал, когда Сталин входил в кабинет. Он заполнял пространство, выдавливая из него все остальное.

Я напомнил ему слова Хрущева о том, что Сталин руководил войной по глобусу. Отец рассмеялся. Он принимал участие в беседе Сталина с тремя западными послами в разгар берлинского кризиса в начале августа 1948 года. Мир, как пишут в газетах, был на грани войны. Сталин держался спокойно, курил свои любимые папиросы «Герцеговина флор», не затягиваясь, отчего папиросы часто гасли. Бумаг перед собой Сталин не держал, записок не делал. Разговор шел о праве союзных держав иметь свои войска в Берлине. Американский посол Беделл Смит как генерал и бывший начальник штаба у Эйзенхауэра строил свою аргументацию на военных доводах. Советский Союз, доказывал он, создавая трудности для западных держав в Берлине, нарушает союзнический договор. По словам генерала, командование США не возражало в свое время против того, чтобы советские войска первыми заняли Берлин.

— Вы не могли тогда вступить раньше нас в Берлин, не успевали, — возразил Сталин.

Отец видел, как Сталин восстанавливает по памяти ход берлинской операции день за днем. В то время, как части Первого Белорусского фронта, которым командовал маршал Жуков, и Первого Украинского фронта маршала Конева укрепились на позициях в 60–80 км от Берлина, американскую армию генерала Паттона отделяли от города с запада 320–350 км. Прорвав мощную оборону противника на Зееловских высотах, Красная Армия на пятый день операции приступила к штурму Берлина, и уже на следующее утро завязались уличные бои. Уши американского посла горели.

— Таковы факты, — заключил Сталин. — Если вы мне не верите, пойдемте в наш архив, я покажу вам генштабовские карты того времени.

— Нет, — смущенно ответил американский посол. — Я вам верю, господин генералиссимус. Спасибо.

Поджарый Беделл Смит был побежден. Сталин развивал победу. Теперь он выступал как последовательный защитник целостной Германии.

— Посты вокруг Берлина мы снимем. Это технический вопрос. Но вы снимите вопрос о расколе Германии.

Послы (с усмешкой заметил мне отец) вежливо, но изо всех сил упирались.

— Нейтрализация Германии, — не выдержал я, — означала бы для Запада полную катастрофу!

Моя агрессивность его насторожила. Я прикусил язык.

— Ну, это да, — согласился отец. — Но все же Сталин ошибся.

— В чем?

— Сталин *ставил* на Де Голля, поддерживая идею величия Франции. Он знал, что Де Голль терпеть не может американцев. Но надо было идти на более тесный союз с Францией. Де Голль хотел Рейнскую область. «Если бы Франция ее получила, Аденгауэр стал бы моим заклятым врагом», — сказал мне Де Голль позже в Париже. Жаль, что Сталин не разыграл деголлевскую карту! Это бы внесло сильное замешательство в ряды «западников»!

Суперсталинская критика Сталина, с расчетом на то, что апокалипсический, смертельно раненный зверь капитализма отползет на Бри-

танские острова, показалась мне тем более парадоксальной, что отец в 1990-е годы, в отличие от многих других ветеранов советской дипслужбы, сделал в отношении России свой *антикоммунистический* выбор.

— Но Де Голль все равно высоко ценил Сталина. Когда речь однажды, в связи с его мемуарами, зашла о сталинских репрессиях, он сказал нам с послом Виноградовым на личной аудиенции: маленький человек делает маленькие ошибки, а большой — большие.

Возникла яркая галлюцинация отцовского разорванного зрения.

— Почему именно Молотова на Западе называли «мистер нет»? — отмахнулся я от нее.

— Часть большой игры, — улыбнулся отец. — Распределение ролей. Молотов как *bad guy* вел переговоры с «западниками» планомерно к срыву, тем самым максимально разведывая сущность их позиции. Роль «мистера нет» как нельзя лучше подходила к его характеру. Он был начисто лишен чувства юмора. Но затем появлялся *good guy* Сталин, начинались улыбки.

Молотов, по словам отца, был сухим, докучным, хотя и образованным человеком. Во всяком случае, он был, видимо, единственным членом Политбюро после смерти Жданова, который мог твердо сказать, что Бальзак никогда не писал роман под названием «Госпожа Бовари». Он любил долгие прогулки на природе, катался на коньках, пил нарзан с лимоном и обожал гречневую кашу. Однажды он озадачил отца.

— Что вы знаете о пользе гречневой каши? Узнайте и доложите!

Идея долголетия, как это нередко случалось у коммунистов, была для него заменой бессмертия. В частном порядке Молотов проявлял интерес не только к гречневой каше. В 1947 году в СССР прошла денежная реформа. Спустя полтора года, как-то ночью, Молотов спросил отца:

— У вас нет случайно при себе денег? Премьер-министр с интересом рассматривал денежные знаки своей страны.

— Хорошие деньги, — одобрил он.

По многолетним наблюдениям отца, Сталин считался только с Молотовым. Остальные были исполнителями. Они вдвоем правили Советским Союзом. К ним наверх стекались, по их же требованию, все вопросы предельно централизованного государства, от глобальных до пошива дамских кофточек. На заседаниях Политбюро Сталин демократично опрашивал всех, а затем все единодушно голосовали за предложение Сталина. Роль института помощников, готовивших для доклада свои *рапортчики*, объединявшие 12–15 документов с пометами: 1А (самые срочные), 1 (срочные) и «прочие», — трудно было переоценить. У помощников «большой хозяин» Сталин и просто «хозяин» Молотов поощряли инициативу и даже некоторое свободомыслие (которое я всегда ценил в отце; оно выгодно отличало его от мидовских бюрократов); начальство допускало споры с собой, до принятия решения. Так, во всяком случае, обстояло дело с американским планом Маршалла, когда Молотов, спровоцированный своим аппаратом, согласился было его в принципе обсудить, но тут Сталин резко одернул сорат-

ника. В 1949 году жену Молотова, Полину Семеновну Жемчужину, арестовали. В аппарате были осведомлены о коротком разговоре вождей.

— У нас зря не сажают, Вяч, — сказал Сталин Молотову, в частных разговорах называя его почти что по-американски усеченным именем.

Сталин любил сажать жен ближайших соратников, Калинина, Ворошилова, того же Поскребышева. Он каждый раз с интересом ждал, как они будут за них просить. На просьбу Поскребышева, по словам отца, Сталин ответил шутя:

— Мы тебе найдем жену получше.

Молотов стерпел, как и другие, арест жены, но с тех пор возвращался после бесед со Сталиным в крайне раздраженном состоянии. Он срывался, обзывал помощников «шляпами», «олухами», «бестолочью», давал нагоняи, которые впоследствии стали стилем работы, ежедневной практикой мидовских начальников. Вспоминая нагоняи от Молотова, отец говорил, что больше всего ему досталось, еще до ссоры вождей, как ни странно, за Илью Эренбурга.

Помимо прочего, Молотов курировал внешнеполитический журнал, куда Эренбург в конце войны принес статью. Популярнейший в то время советский писатель утверждал, что немецкие рабочие и крестьяне, с которыми он беседовал в захваченном Красной Армией Кенигсберге, поддерживали захватнические планы Гитлера, мечтая получить русских для черной работы. Эренбург (как я теперь понимаю) завуалированно требовал глобальной мести. Молотов послал отца объяснить автору, что «мы должны искать в Германии здоровые силы,

а не чернить всех подряд». Отец не поверил своим ушам: Эренбург ответил ему, что все написанное им — правда и ничего менять не намерен. Отец доложил Молотову. Тот взбесился:

— Вы сами плохо соображаете, раз не умеете внушить собеседнику очевидные вещи! Идите к нему снова и переубедите!

Отец изо всех сил «надавил» на писателя.

— Не хотите печатать, не печатайте — ваше дело, — резко заявил отцу, казалось бы, вполне «послушный» Эренбург.

Отец уныло поплелся к «хозяину», ненавидя интеллигенцию. Впоследствии отец и сын не раз повторяли одну и ту же фразу:

— Писатель посмел перечить премьер-министру СССР! Один — с заметным раздражением; другой — с тайным восхищением.

Арест молотовской жены был только первым ударом Сталина по «мистеру нет». На XIX съезде партии в октябре 1952 года он вывел Молотова из состава Политбюро, мотивируя это (в духе своей парадоксальной логики) уступками Молотова по отношению к Западу. «Над Молотовым завис топор, — рассказывает отец, — Он сидел за опустевшим рабочим столом, просматривая лишь советские газеты и вестники ТАСС. Другие материалы не поступали. К Сталину его вызывали редко. У нас в секретариате ретивые совминовские хозяйственники уже снимали дорогие люстры, гардины».

К тому времени мой детский рай уже перешел на военное положение. В нем шла бесконечная, с утра до вечера, война с «немцами». Взмывленный, осипший, с разбитыми коленками, я носился с соседскими мальчишками по черда-

кам, помойкам и мало чем отличавшимся от помоек, пахнувшим безумием и кислыми щами многосемейным коммунальным квартирам моих друзей в поисках врага. С реальными врагами было плохо: никто из нас не хотел быть «немцем». Врагов приходилось выдумывать.

За отцом усилилось наблюдение госбезопасности. Как-то вечером незнакомый голос по *вертушке* — телефону правительственной связи — стал грубо отчитывать его за то, что он спрятался за занавеску, когда по коридору проходил товарищ Сталин. Фантазии а la «Гамлет». В другой раз, отдыхая на юге, он получил телеграмму срочно вернуться в Москву. В кабинете отца уборщица — агент КГБ — нашла открытку с юбилейным портретом Сталина, сделанным Пикассо. Берия расценил его как карикатуру.

На войне с «немцами» я разорвал себе угол рта и буквально истекал кровью, пока мама, забыв в панике пропуск в кремлевскую поликлинику, криком требовала от охранника, чтобы нас пропустили к врачу. Я выздоровел. Вместо меня умер Сталин.

Смерть Сталина в марте 1953 года, очевидно, спасла отца от ГУЛАГа, а меня от детского дома для детей врагов народа. В начале лета был арестован Берия. После его ареста в кабинете Молотова стоял специальный динамик, по которому, как отец слышал сам, «передавался допрос этого негодяя». Доносились рыдания и мольбы сохранить жизнь.

Работа отца у Молотова закончилась два года спустя. Ангел-хранитель опять хитроумно прибегнул к ангине, чтобы оберечь его от возможных неприятностей:

— Нас всех спасало от болезней постоянное нервное напряжение, особенно во время войны. Когда жизнь стала входить в нормальное русло, болезни вернулись. Узнав о моей ангине, Молотов выразил недовольство тем, что «этот Ерофеев все время болеет». Меня взорвало: десять лет работы не жалея себя — и вот тебе на! Вернувшись на службу, я прямо сказал Молотову, что больше работать у него не хочу.

Настали большие перемены. Мы уезжали жить в Париж. Отца назначили советником советского посольства. Перед отъездом мы успели посетить Сталина в мавзолее. Ничего не подозревая, я вошел в мавзолей, как на увеселительную экскурсию, и — провалился на дно своих страхов. Сталин и Ленин — мои первые мертвецы. Это было детское свидание со смертью. Сталин лежал там «на новенького», красивый и страшный, и потом долго снился вперемежку с черепом и костями дачного электрического столба. Приехав в Париж, я наотрез отказался пойти посмотреть гробницу Наполеона aux Invalides, боясь наткнуться там на мумию императора.

Вскоре Молотов (о чем заранее мог знать только ангел-хранитель) лишился всех постов, объявленный Хрущевым руководителем просталинской «антипартийной группы»; его секретариат был расформирован. Скатившись вниз, Молотов стал нашим соседом по даче, и позже мне довелось провести с ним рядом целое лето, но это уже другая история. Скажу лишь, что, выйдя из сталинской тюрьмы, Полина Семеновна сохранила верность вождю.

— Как ты себе конкретно представлял коммунизм?

Отец помолчал.

— Мы верили в то, что это наиболее справедливая форма организации человеческой жизни. Основанная на принципах, признанных всеми людьми и даже религиями.

С религией у отца было всегда напряженно. На моей детской памяти он никогда не заходил в действующую православную церковь, даже если она была памятником культуры. Маме разрешалось зайти, а сам не заходил. У нас в семье считалось неприличным и стыдным говорить о Боге.

— Какие это принципы? — продолжал отец. — Забота о человеке. Человек прежде всего. Братство. Дружба. Бесплатное медицинское обслуживание. Бесплатное образование. Человек несет ответственность перед коллективом за свое поведение, за свою работу. Мы были воспитаны «в кулаке». Если кто-то шел на *разврат*, он знал, что будет за это отвечать на партсобрании.

Большинство людей отцовского круга были на удивление застенчивыми людьми и не помышляли ни о каком разврате. Помню историю, рассказанную старшим помощником Молотова, Борисом Федоровичем Подцеробом, который, в молодости пригласив на свидание девушку, незаметно написал себе в брюки, стесняясь признаться, что ему хочется в туалет. Были, конечно, исключения. Ближайший друг моего отца, вертлявый и умный Андрей Михайлович Александров, который знал наизусть по-немецки «Фауста» и которого позже (он стал влиятельным помощником Брежнева) американцы прозвали *русским Киссинджером*, приходя к нам в гости, не только с неизменным постоянством цитировал по памяти шедевр Гете, но и

весело щипал наших домработниц, чем приводил в отчаяние мою маму. Как-то, готовясь ко сну, в поисках пижамы я обнаружил *русского Киссинджера* в закрытом платяном шкафу моей детской комнаты страстно целующимся с собственной женой. Они приветливо замахали мне руками. Для отца всегда были действенны слова *скромность* и *дисциплина*.

— Наш провал имеет глобальное значение для человечества, — сказал отец. — Мировая катастрофа философского плана. Потеряна надежда.

Однако в другой раз, во время нашей прогулки вдоль подмосковной речки Истры, он был настроен, что ему свойственно, более оптимистично:

— Нет лучше идеи, чем коммунизм, но никто не смог претворить его в жизнь ненасильственным способом. Опыт показал, что в условиях России мы к этому не были готовы. Как сегодня мы еще не готовы к демократии. Но наш опыт не пропал даром. Когда-нибудь в новых формах к этому (коммунистическому) делу человечество может вернуться на более высоком моральном уровне.

Когда в сталинские годы мою бабушку при мне обсчитали в ГУМе, она удивилась:

— Как же вы не боитесь меня обсчитывать, когда мой сын?..

Кассирша, сидя за высоким, еще дореволюционных времен кассовым аппаратом, готова была сдать ей всю выручку. Но это была только азбука общественной теологии.

Я вырос и что-то понял: для Запада и большинства российской интеллигенции Сталин — одно, а для многих миллионов русских — другое.

Они не верят в *плохого* Сталина. Им не верится, что Сталин кого-то терзал и замучил. Народ *зачинил* образ *хорошего* Сталина, спасителя России и отца великой нации. Мой отец шел вместе с моим народом. Не обижайте Сталина!

Другого таежного Наполеона, других коммунистов и другой *бабушки* у меня нет и не скоро будут.

В своей мистической книге «Роза мира» Даниил Андреев поместил Сталина на самое глубокое дно преисподней. Это было эмоциональное решение вопроса, доступное строгой человеческой логике. Но настоящая мистика, от которой сворачивается кровь, заключается в том, что в историю России Сталин, в конечном счете, войдет со знаком плюс.

Я достаю из семейной коробки разные фигуры с овальными казенными бирками. Бирка — вселенский учет и контроль. Солипсизм — отсутствие детской травмы. Из *голового случая* я превращался в единую меру вещей. Вот Сталин, за ним Молотов, Берия, Микоян, другие члены Политбюро, а также прославленные иностранцы: мне улыбаются Де Голль, Риббентроп и Морис Торез, для меня танцует учитель танцев Энвер Ходжа.

В соответствии со своими доктринами или вопреки им они существуют исключительно ради моего удовольствия. В глубине порядка вещей они же — мое порождение, и потому *глубоко* ненастоящи. (Как тот индус возле аэропорта в Варанаси, с усами шире своего рябого лица и допотопным карабином в худеньких ручках, который сделал угрожающий жест, когда я по ошибке зашел в запретную зону какой-то маслянистой

срани, обнесенную бамбуковым частоколом. Я смотрел на него и не мог поверить, что он способен причинить мне какой-либо реальный вред.)

Все это закончилось некорректно. Я догадывался о солипсических ритуалах. Я поклонялся солипсическим идолам. Я зарекся выигрывать у отца в его любимые игры, особенно в теннис, — не помогло. Хрупкость бытия дана *нам* наглядно в семейном примере. Скорлупа разбилась. Индус, выйдя за скобки, выстрелил — блядь такая! — в жаркий воздух. Бирки рассыпались. Даже бабушка взбунтовалась против отведенной мной для нее роли. Оказавшись долговечнее СССР, перед смертью Анастасия Никандровна призналась мне, что всегда считала Ленина «плохим человеком».

— Что же ты мне раньше об этом не сказала? — спросил я.

— Я не хотела испортить тебе жизнь, — прибегнув к театральной интонации, ответила бабушка хриплым голосом.

Она не знала, что я испортил себе жизнь и без ее помощи. Мы скрывали от нее семейную катастрофу, как неприличную болезнь. Она не знала, что в 1979 году, *gone with a dissident wind* в самиздат, я невольно *политически* убил своего отца (фрейдисты тут, наверное, оживятся).

Однако хорошая новость: совесть есть. В России нужно жить долго, чтобы дожить до чего-нибудь. Но совесть спит непробудным сном. Нёгретос Гипнос — ее бог-командир. Ей что-то снится. Продолжение следует. Да и что такое Россия, как не сны совести?

СОРОК СПОСОБОВ НОЧНОЙ ЖИЗНИ

Люди делятся на тех, кто ночью тратит деньги, и на тех, кто их зарабатывает. Разница между ними, в сущности, незначительна, потому что и те, и другие делают свое дело весело. Непонятно, однако, к какой категории относятся те, кто спит. Скорее всего, к растениям, поскольку растения по своей природе молчаливы.

Есть сорок основных способов ночной жизни, каждый из которых красив и опасен. Ночь вообще опасно красива, в то время как день или опасен, но не красив, или же красив, но не опасен, хотя чаще всего день и не опасен, и не красив, а так, не пойми что, одна пресность и рассудочность.

Ночь, как и Пушкин, не терпит суеты, и каждый из сорока основных способов ночной жизни мягок и гармоничен в своей опасности.

Даже небезызвестный 23-й способ ночной жизни и тот гармоничен. Казалось бы, что гармоничного в том, чтобы пойти на кладбище, раскопать свежую могилу и стать сатанистом? Некоторые, например, считают этот способ чересчур радикальным и не совсем гармоничным, хотя, действительно, опасным. Однако гармония этого способа ночной жизни заключается в общении с природой на свежем воздухе.

Классическими примерами красоты и опасности ночного способа жизни можно назвать 8-й,

14-й и 31-й: поход в казино, рейв-клуб и — наиболее в наши дни модное — многочасовое, до утренней зари, поглаживание кошки на коленях у себя дома. Есть, правда, часть духовно устаревших, хотя и очень молодых людей, которые полагают, что поглаживание кошки при всей своей гармоничности недостаточно опасно с ночной точки зрения. Однако это просто смешно, потому что астральный улет от многочасового поглаживания кошки, если он совершается правильным образом, так же опасен для так называемой нормальной жизни, как и многочасовые танцы в рейв-клубе при соответствующих добавках. Виртуальщики кошачьего поглаживания рассказывали мне, что приключениям их возвращения мог бы позавидовать и Кастанеда.

Друзьям русских радостей, естественно, лучше всего знаком 3-й способ ночной жизни, связанный с продвинутым алкоголизмом, однако и здесь не обходится без споров. Нарастающее среди молодежи движение за здоровый образ жизни готово ставить под сомнение красоту и гармонию пьянства, противопоставляя ему 38-й способ: ночной джогинг по окраинам города. Да, это и в самом деле красиво и опасно, но красота все-таки имеет право на национальное своеобразие.

Немало нареканий среди населения вызвал наиболее шумный, 25-й способ. Речь идет о мотоциклах. Но мне особенно хотелось бы подчеркнуть красоту и опасность недавно открытого, еще нового в ночной таблице Менделеева 59-го элемента: на скорости между 165 и 170 км/час на определенном типе высококлассных мотоциклов, особенно на Рижской автостраде в ночное вре-

мя, девушки научились извлекать из мотоцикла особого рода вибрацию и испытывать ощущения, которые им раньше были известны преимущественно с мужчинами, однако в гораздо более мощных формах. И не только испытывать их самим, но и передавать близким людям. На ночных дорогах полностью устраняется фригидность.

Ясно, что после такого дела посещение джаз-клуба (15-й способ) или какого-нибудь псевдокрутого бычарного заведения (28-й) с хилым стриптизом выглядит менее вдохновляющим. Эти испытанные способы ночной жизни если и не окончательно устарели, то по крайней мере отошли на второй план. Реально опасным джаз был только для Максима Горького, да и то из-за старческого холуйства, а что касается стриптиза, то обнаженная натура восхищает пресыщенное население лишь в совершенных или вовсе уродливых формах. Трансвестистка, где ты?

Москва не долго плелась в хвосте у Нью-Йорка и Амстердама, и если мы в чем и обогнали Запад, так это в скорости разочарования в ночной халтуре. Коммерческий секс, в конечном счете, расхолаживает разницей между фантазмом и предложением. А если говорить о садо-мазохизме, то немцы все-таки и есть немцы: у них получается органичнее.

Интимизация ночного образа жизни в старинных формах ночного чтения (4-й) и просмотра видеофильмов (22-й) снова в моде. Это красиво и опасно для глаз. Глаза слипаются. Всем хорошим во мне я обязан сну.

«ДВА МИХАИЛА»

Булгаков и Лермонтов — два полюса в литературе. Случайные совпадения в их датах рождения и гибели наводят на всякие странные, непарадные размышления.

Удивительное дело: на протяжении всего творчества у Булгакова ни одной крамольной мысли, ни одного покушения на здравый смысл... Его творчество — катехизис порядочности для детей и взрослых, националистов и космополитов, умных и дураков. Булгаков универсален и целебен, как микстура. От нее корчится в судорогах лишь мерзкое племя, вылупившееся из роковых яиц.

То есть как ни одной крамольной мысли? Не весь ли Булгаков — сплошная крамольная мысль? Булгаков — выдающийся антисоветский писатель, посветивший себя сатирическому разоблачению хамского строя. Зависит, впрочем, как смотреть. Если строй преступен (о чем надоело...), Булгаков — свят. Какая же тут крамола?

Булгаков талантливо высмеял советскую власть. Советская власть бездарно травила Булгакова. Была непоследовательна в травле. О какой последовательности можно говорить, если Сталин бегал на «Дни Турбиных», как последняя институтка? Ведь это же апофеоз белого движения! Зачем тогда бегал смотреть? Не потому ли, что Сталина проняла порядочность Булгакова? Встреча двух порядочных людей. Хотя бы по те-

лефону. Ведь он же думал о себе как о порядочном человеке и хотел стране добра: в форме коммунизма... а какое еще у коммуниста добро? Да, но если так, зачем бегал?

Меня радует, что советскому правительству не понравилась пьеса Булгакова «Батум» о романтической юности Сталина. Не в свои сани не садись. Хочешь быть порядочным, будь до конца, даже если тебе делают немножко больно. Пьеса была запрещена. Страшно подумать, если бы разрешили. Непорядочное, вымазанное в народной крови правительство спасло Булгакову репутацию порядочного писателя.

Биография сложилась. Сложилось и творчество. Над советской властью можно смеяться до бесконечности. Это простор булгаковского творчества. Еще ее можно презирать и ненавидеть. Но Булгаков был мягок и непоследователен. Шариков — хамская душа революции — вновь был превращен в собаку, преданно лижущую руку. Это была сладкая мечта всей нормальной русской интеллигенции, обиженной революцией и справедливо ропщущей на нее. Однако почему булгаковские профессора из ядовито сатирических повестей с каким-то особенным постоянством звонят в ГПУ, где находят сочувствие?

Гонение на литературу есть наша, национальная форма ее выживания. Чтобы спасти Булгакова, нужно снова его запретить. Теперь нам всем его прописывают как панацею от духовных (о, словечко!) бед, не сознавая выверта ушибленного сознания: мы до сих пор питаемся лишь запретными плодами. От разрешенных нас рвет.

Откроем главную книгу. Мастер находит сочувствие не в ГПУ, а у фундаментального носителя зла, который одновременно оказывается добром. Такого, как Мастер, нельзя обижать. Потому что он хороший... Потому что он угадал... И это после всех философских метаний «серебряного века»? Вынесите за скобки советскую власть, и останутся атрибуты обыкновенной порядочности, абажуры и занавески «Белой гвардии», все то, что составляет милый, интеллигентский уют. Но если *до* катастрофы этот уют был бытовым фактом, то *после* он раздался до факта литературного, превратился в метафору, определенную талантом, благородством и смелостью.

А философии как не было, так и не стало. Воланд прибыл в сталинскую Москву с удивительно мелким заданием. Воистину он мелкий бес, проморгавший, вместе с Мастером, подлинную метафизику террора. Там, где кончается незабвенная «осетрина второй свежести», роман полон дешевого мелодраматизма. Он часто безвкусен в своих религиозных претензиях, излишне театрален.

Сказать об этом нет сил... Борьба с советизмом связала нас по рукам и ногам. Пора, пожалуй, выскочить из нашей паршивой истории, перестать быть ее заложником. Но об этом позже. Булгаков — эталон порядочности. Так зачем из него делать Гёте? Он был великолепным сатириком, остановившимся перед выбором: либо проклясть советскую власть, либо попробовать улучшить ее. Это колебание исторически любопытно, но не онтологично.

Булгаков очевидно ошибался, написав в письме советскому правительству, что он — мисти-

ческий писатель. Это был, скорее, вызов атеистической власти, жест гражданского неповиновения, нежели правда. Сатирик не может быть мистиком. Сатирик всегда *над* своими героями, которые конечны и заданы изначально всей стилистической конструкцией. Сатирик учит; мистик учится. Один знает, другой сомневается. Все творчество Булгакова — человеческая комедия, суть которой в борьбе земных сил.

Булгакова создала советская власть. В этом булгаковская функциональность — обстоятельства сильнее призвания писателя. Нет ничего обидного для Булгакова — замечательно отразившись во времени, он состоялся как страдающий писатель.

Но есть другой полюс. Совсем другой бунт. Есть писатели, которые высказывают крамольные, опасные мысли. Эти мысли не могут быть приняты всеми, если вопрос стоит о том, чтобы миру продолжаться. Скажем, знаменитое пушкинское: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей...» — в сущности, вызов человеческому жизнеустройству. Вызов Лермонтова — того же порядка. Говорят, Николай I, прочитав «Героя нашего времени», бросил книгу об пол и завопил благим матом. Монарх был прав. «Герой нашего времени» — подрывная литература. Она близка книгам Ницше.

Не буду делать из Лермонтова демона, как это делал в свое время Владимир Соловьев. Булгаков серьезно относился к своему сатирическому дару; Гоголь поражался несерьезности отношения Лермонтова к своему таланту. Но несерьезность Лермонтова — в его крови, в отношении

к миру. Смешно презирать мир, не презирая собственных потуг его объяснить.

Булгаков лечит заболевшую историю. Лермонтов знает: не вылечишь. Так возникает Печорин. Цинизм — в русской моралистической традиции — это смерть души. А Лермонтов вместо того, чтобы оплакивать Печорина, гордится им и радуется ему.

В моральном поединке Печорин — Грушницкий большим моральным уродом, безусловно, выходит Печорин. Грушницкий, которого Печорин обманул, высмеял, унизил и с удовольствием убил, — это тот самый средний или маленький человек, которого принято оберегать и жалеть в русской литературе. А княжна? Спровоцировал любовь и бросил женщину без всяких угрызений совести. Растоптал не только княжну, но и чувство, само понятие любви. Ну не подонки ли?

А у нас всё спорят о «немытой России». Между тем Лермонтов чувствовал все неблагоприятные условия мира в гораздо более глубинном, хтоническом измерении. «Немытая Россия» была лишь тенью иных переживаний. Принято думать, что человек хорош, однако породил социально несчастные обстоятельства. Вздор. Он потому и породил, что — нехорош. И в этом смысле Лермонтов как раз замечателен тем, что своим цинизмом вспорол брюхо истории. Не захотел быть ее пленником. Цинизм у него — бунт против самого человеческого удела.

Лермонтов нужен небольшому числу людей, которые способны прозреть, проснуться и отреагировать на состояние мира отчаянными

мыслями. Массе, большинству это не нужно. Масса пусть спит — иначе мир остановится как вкопанный. Это отнюдь не пресловутая элитарность. Это избранность висельников.

Булгаков — здоровая, вкусная пища для всех. Он принадлежит имманентной культуре, связанной системой исторических и социальных обстоятельств. В этой демократической (в полном смысле) культуре происходит и окончательно произойдет канонизация сатирика.

Лермонтов заслужил гнев монарха и непонимание. *Вот истинное признание для одинокого творца, которому нечего сказать человеческой массе.* Он находится в тех мирах, которые читательская публика никогда не вычислит, лишенная дара метафизического отчаяния. Но Лермонтов — живительный яд, без которого гниют, сохнут и умирают деревья той самой популярной культуры, что хорошо научилась отделять Шарика от Шарикова.

МУЖЧИНА БАЛЬЗАКОВСКОГО ВОЗРАСТА

Смерть фотоаппаратам. Бой зеркалам. Горечь — основной эффект отражения. Напорившись на собственное лицо, в утешение думаешь: «Это пройдет». Всегда проходило, пройдет и сейчас. Отцов и детей больше не существует. Старики достоевско-тургеневского призыва, которым было слегка за сорок и которыми, как сладострастными пугалами, пугали классики скорых на обмороки барышень, отменены прогрессом, вместе с обмороками. Дети бьются за жизнь — отцы оттягиваются. Дети моложе, отцы интереснее. Равновесие. Казалось бы.

Но есть закон чисел, который сильнее знаков зодиака и физиологических процессов. Есть даты, которые суживают будущее и расширяют вены. Женщинам бальзаковского возраста, шагнувшим за тридцать, в девятнадцатом веке предлагалось одно только прошлое. Женщины отыграли себе за последние сто лет по крайней мере лет десять. Мужчины — в два раза больше. Они доходят теперь до пятидесяти почти бездумно, без чувства возраста.

Дошли и — встали. Уперлись.

Искусство старения несовместимо с цивилизацией. Американский оптимизм в простейшей формуле «I am fine» задал тон новейшему времени. На пятидесятилетие накрывают роскошный стол и юбиляру заправляют речи о том, что

у него начинается новая жизнь, все у него впереди, и *это самое* тоже впереди, и еще долго будет торчать впереди, весь этот набор.

И юбиляр много пьет водки, много хохочет, окруженный друзьями, куражится и верит и не верит. Пятидесятилетний юбилей — первая ласточка панихиды. Как-то неуютно. Чуть-чуть тоскливо. Залез на вершину жизни. Вот он — пик. Но сколько на этой вершине можно продержаться?

А дальше — под гору, со свистом, теряя зубы, волосы, самообладание.

Юбиляра начинают донимать числа. Раньше двадцать пять лет — не срок. А теперь срок. Раньше планы на десятилетия, теперь на годы. И надо колбасой спешить все успеть, а спешить — несолидно. Числа спрессовываются. Мечта обрывается.

Это и есть комплексы современного *мужчины бальзаковского* — назовем его так — *возраста*. Вокруг моим друзьям, американским, французским, немецким, русским, исполняется полтинник, и я вижу, они не знают, что с этим делать. Все какие-то оптимистически напряженные и — потерянные. И дети их не знают, что с этим делать, и младшие братья, и женщины тоже недоумевают, но на всякий случай шепчут *русскому юбиляру*: «Вася, крестись! Хуже не будет!»

Мужчина бальзаковского возраста начинает напрашиваться на комплименты, что ему раньше было несвойственно, и по-иному, гуляя где-нибудь по сочинской набережной, втянув свой живот, посматривает на *девчонок*, и сильно беспокоится, когда они на него плохо реагируют,

потому что у них своя жизнь, а он в нее не вписывается.

Пятидесятилетие — большая ложь и говно, если к нему неправильно зайти. К пятидесяти годам мужик *должен* состояться. Вот самый простой закон.

Если мужик к бальзаковскому возрасту не отлился в бронзу на всю оставшуюся жизнь, к нему приходит уныние. В пятьдесят лет мужчина, который завидует чужим успехам и *дергается*, вызывает разрушающую его жалость. Все осыпется, возраст накроет.

Но если мужик реализовался, ему море по колено и все ему будет открыто, дорожка не пойдет вниз. И он будет красив. И красивые женщины сами собой подберутся под его *интересную* энергетику, в кружок.

А главное — откорректировать свое поведение: между собой и миром возвести что-то вроде стены. Быть не самодостаточным, это не то, но и не становиться в позу просящего.

Даже по отношению к зеркалу.

АЗАРТ НЕПОХОЖЕСТИ

Если все любят блондинок — люби рыжих. Чем больше они любят блондинок — тем больше люби рыжих. Будь верным в любви к рыжим, люби рыжих до безумия — и тебя полюбят блондинки. Если все ходят в коже — забудь о коже. А как же мода? Сам будь модой. Если все любят Россию — люби Индию. Когда ты полюбишь Индию, когда ты зайдешь с той стороны, ты увидишь Россию такой, какой ее мало кто видит, и тогда сам решишь, любить ее или нет. Если все вокруг ходят хмурыми — ходи веселым. Ходи веселым назло им всем. Если все любят рок — люби Баха.

Не понимаешь Баха — люби Шопена. Он попроще, но тоже классный.

А как же рок? А как же потанцевать? А кто тебе мешает — танцуй!

Настоящие мужчины знают, что женщины не любят трахаться на скорую руку. Однако у настоящих мужчин мало времени. Не экономь его на любви.

Все говорят, телевизор — отравя. Прислушайся. В этом конкретном случае голос народа не врет.

Но если очень хочется смотреть телевизор — включай скорее. Не спи на ходу.

Время больших сомнений. Все сомневаются, что делать, как жить. Не сомневайся вместе с другими. Сомневайся отдельно, сам по себе.

Если все делают деньги — делай *большие* деньги или вообще их не делай, только не делай как все.

Что такое русская свинья? Это национальная копилка. Не бросай по возможности в нее денег. Не балуй родное животное.

Все мечтают разбогатеть, купить большую квартиру, а ты не мечтай — ты действуй. А если не получается — не мечтай о глупостях, не дешеви мечту.

Раньше многие продавались советской власти. Хотели получить большой брежневский поцелуй взамен. Теперь продаются рыночным ценностям. Соблазнов больше, и дрогнули даже те, кто раньше держался. Зеленые деньги важнее советского ордена. Все равно — не продавайся. Обрати себя не купишь.

Не верь рекламе, даже если она права. Она не обидится — у нее и без тебя много поклонников.

Если ты любишь боевики и детективы — не стесняйся. Слабость — в природе людей.

Если все дураки — будь умным.

Так интересней.

Если все любят свою маму — ты *тоже* люби свою маму.

Это она родила тебя не похожим на всех.

Купи себе коня и скачи. Скачи по снежному полю за горизонт. Удиви мир.

Все сплетничают о знаменитостях. Не подражай им. Стань знаменитостью.

Не любишь политику — правильно делаешь. Но не давай русской политике издеваться над твоей жизнью. Не забывай — у нее плохая наследственность.

Во времена засилья масс-культуры хорошо принадлежать к элите. В остальные эпохи это не обязательно. Это даже некрасиво — в остальные эпохи.

Люби себя. Но люби себя все-таки меньше, чем тебя любит любимая женщина.

Будь исключением из правила, будь первым или последним, только не будь общим местом. Не занимай его — займи врагу.

Непохожесть — сестра таланта. У таланта две сестры, а не одна, как думают все.

Сестры таланта — румяные телки. Стань мусульманином. Женись на обеих.

АВТОПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ В ПАЛЬТО

И вот вошел я, в пальто цвета хуя. Бритый.
Босой.

С деревянным чемоданом в руке. Жопа —
красная. Вся в губной помаде от поцелуев.

РЯЗАНСКИЙ ГАМЛЕТ

Реванш в Рязани. Пришедшие там к власти коммунисты вновь обобществили не только домашних животных, но и женщин. Браки, заключенные после 1991 года, объявлены недействительными. По последней обкомовской резолюции, женщинам запрещено носить все иностранное, что значительно усилило популярность красных, поскольку женщины резко разделись. Кроме того, им запрещено говорить слово «нет».

Рязанцы нашли новые формы удовольствия. Деревянные заборы исписаны страстными лозунгами. Дело зашло так далеко, что на главной площади восстановлен памятник Ленину как символу русского Эроса. Во время церемонии девочки стояли в одних пионерских галстуках. Открытие памятника превратилось в свальный грех. В постамент вождю замуровали капсулу с семенной жидкостью всех тех, кто дал деньги на осуществление проекта. Некоторые думают, что памятник забеременеет, а уж кем, никто не сомневается.

Я приехал в Рязань с тайной миссией поддержать антикоммунистическое подполье под видом встречи с читателями. Подполье вооружилось бутылками с самогонной смесью, и мы просидели до утра в мастерской художника В., споря о том, что делать.

Меня никогда не перестают удивлять российские мужчины своей ключевой безысходностью. Быстро выяснилось, что делать нечего, пото-

му что, что ни делай, ничего не получится, а если получится, будет еще хуже. Опытный диссидент с догорбачевским стажем, женатый пять раз, заговорил о том, что книги важнее женщин.

— Когда у меня с утра нет денег на пиво, — сказал он, — я опохмеляюсь книгами. Лучше всего опохмеляться Набоковым, но не больше пятидесяти страниц. Кафка с Борхесом в пропорции 2:1 по своему качеству приближаются к огуречному рассолу. От Горького может вырвать. От Ахматовой слабит. Цветаева бьет по барабану. Зато оттягивают «Три мушкетера». Есенин тоже годится, особенно после крепленого красного.

Поскольку в Рязани все мужчины так или иначе похожи на своего земляка, разговор принял интересное направление.

— Секс важнее духовности, — с обидой запротестовал молодой человек с лицом вечно ищущего студента.

Это самый печальный тип русского мужчины. Вечно ищущие студенты редко что находят и несчастны в любви,

— Корень зла не в обществе, а в нас самих, — сказал бизнесмен по прозвищу Детское питание, спонсировавший самогон.

Он сдал, впрочем, немного спермы и под памятник Ленина для душевного равновесия.

— Как хочется в Испанию! — вздохнул хозяин мастерской В., позитивный русский характер с чертами благодушия и творческой расслабленности.

— А мне не хочется, — сказал самый похожий на Есенина, и тоже по имени Сережа. — На Западе скучно.

— Зато у нас слишком весело, — сыронизировал вечно ищущий.

— Мне у нас нравится, — сказал Сережа. — А за то, что у нас весело, приходится платить. Вот мы и платим.

— Позволь пожать руку, — привстал бизнесмен.

— Вообще нам всем не хватает тепла, — громко сказала его молодая жена, одетая в запыленное черное платье, ничего, правда, не закрывающее.

— Хочу тебя взять за руку и увести с собой, — чуть тише сказала красавица, обращаясь ко мне.

— Спасибо, — улыбнулся я с абстрактной благодарностью.

— У меня все в порядке и здесь, и там, — сказала она, показывая глазами где. — Не веришь? Пойдем на кухню. Я прочту тебе свои стихи.

Она взяла меня за руку и поволокла на кухню.

— А как же муж?

— Он мне не хозяин. Вот смотри!

К моему удивлению, она закрыла глаза.

— Гул затих. Я вышел на подмостки. Что там у нас дальше?

Раздался стук. Вошел Гамлет. В лице Детского питания. С бутылкой коньяка и двумя рюмками.

— Это вам, — сказал он нам и заботливо вышел вон.

Дело рязанской контрреволюции было отложено на неопределенное время.

МУЖСКОЕ БОГАТСТВО

Тело мужчины редко описывает не только мировая, но даже специальная литература. Не потому ли связь мужчины с телом ослабла? Некоторые части мужского тела до сих пор остаются неназванными или названы кое-как. Мужчина вспоминает о своей телесности в исключительных случаях, преимущественно в стрессовых положениях. Гораздо больше внимания он уделяет своей деятельности, результаты которой, как правило, катастрофичны. Произошел отрыв мужчины от тела.

Между тем мужчина на редкость красив. Более того, его красота не знает аналогов в живой природе.

Некоторые говорят, что мужчина рожден убивать. У него красота убийцы.

Но есть люди, которые считают, что это только часть правды. В мужском теле есть красота бескорыстного самоутверждения. Мужские плечи и грудь, а также лопатки, голени и предплечья вполне бескорыстны.

Другое дело — нога.

Мужская нога является образцом красоты. Она динамична в своей волосатости. Мужчине не надо что-то там брить. Она поступательна, быстро бежит при своей оснащённости ступней, пяткой, пальцами с крупными ногтями, наконец, кожей. Колено как связь между верхом и низом не может не быть функционально.

Мужские пальцы рук — чудо быстрого реагирования.

Я люблю смотреть на мужчину, когда он идет, взяв ребенка за руку. Маленькая рука в большой руке. Мне нравится это простое несоответствие.

Разное болтают о мужском подбородке. Не раз приходилось слышать, что он навевает мысли о ярости. Наивные люди! Мужской подбородок скорее удобен для созерцания.

Мужской пупок — центр космического пространства. Если у мужчины открытый пупок — он хозяйствен, любит готовить. Если — прищуренный, он все равно хозяйствен. Он всегда хозяйствен. Всегда с граблями в саду бытия.

У мужчины нежная кожа. Она такая нежная, что ее хочется все время трогать руками.

Красоту спящего мужчины трудно описать на любом языке.

Когда мужчина раздует щеки, он кажется Богом.

Когда мужчина идет с крестом, он похож на Иисуса.

Мужской свист я вообще ни с чем никогда не сравню.

Мужские крепкие ягодичы красивы не только сами по себе, но и тем, что видится между ними.

Яйца — вот это остров сокровищ. Там есть одно такое место, что закачаешься.

Я никогда не назову мужские гениталии постыдным постным словом член. Хуй есть хуй, и я буду писать это слово с заглавной буквы, как в

слове Родина. Я вычеркиваю его из словаря нецензурных слов.

Я ценю неподдельную автономность хуя, его самостоятельные решения.

Вы когда-нибудь видели глаза мастурбирующего мужчины?

Они полны сухих слез.

Вы когда-нибудь видели, как мужчина ест? У меня перехватывает горло, когда я вижу это зрелище.

Когда мужчина один день не бреется, он становится гением вдохновения.

Меня волнуют его гоночные повадки. Хорошо, когда он делает небесные виражи на ударном истребителе, стоя в воздухе торчком, а затем запрокидываясь на спину.

Я люблю, когда голый мужчина причесывается в ванной перед длинным, до пола, зеркалом. Зачесывает мокрые волосы назад. Это — классно. Я люблю, когда он мажет щеки горьковатым парфюмом, когда он слегка усмехается.

Я не любитель шахтерских страданий, но я люблю, когда у мужчины чуть-чуть грязное лицо.

Толстый мужчина или худой мужчина — какая разница! У них у обоих адамовы яблоки.

Мужские соски — вот новые знаки бескорыстия.

Шея — движение.

Рот — тишина.

Мертвый мужчина менее страшен, чем любое другое животное.

СОДЕРЖАНИЕ

Утренне чудо	3
Геологический сдвиг	7
Конь и изба	10
Стиль, стиль, стиль	14
Оптина Пустынь и губная помада	17
Кто боится Фрэнсиса Бэкона?	22
Бог бабу отнимет, так девку даст	26
Don't complain значит «не жалуйся»	29
Мой друг, маркиз де Сад	32
Секс как спорт	35
Смерть писателя К.	39
Козлы	43
Между кроватью и диваном	46
Герой нашего супервремени	50
Голый пляж	52
Спилбертский ящер	57
Анекдот о двух киллерах	65
Будь я поляком	68
Е между Г и Д	75
Права мужчин	81
Ярко-розовое белье Средней Европы	85
Всадник без головы	90
Холостяцкий угол	94
Боль за народ	99
Как свежи были розы	103
Цена проститутки	108
Солженицын и Джеймс Бонд	111
Не мучайте меня, пожалуйста!	114
Описание противника	119
Хороший Сталин	122

Сорок способов ночной жизни	152
«Два Михаила»	154
Мужчина бальзаковского возраста	161
Азарт непохожести	164
Автопортрет писателя в пальто	167
Рязанский Гамлет	168
Мужское богатство	171

Виктор Владимирович
Ерофеев

МУЖЧИНЫ

Оформление

С.Сорока

Корректор

Н.Быкова

Электронная подготовка оригинал-макета

С.Андрусенко

А.Безуглый

А.Федина

Ответственный за выпуск

И.Смолин

По вопросам распространения
обращаться по телефону

973-25-88

ЛР № 064584 от 14 мая 1996 г.

Подписано в печать 10.06.99 г. Формат 60х90 1/16.

Бумага для ВХИ. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,0.

Тираж 5 000 экз. Заказ № 219.

Издательский Дом «Подкова»

121108, Москва, ул. Пивченкова, 3—1

Отпечатано с готовых диапозитивов

на ФГУИПП «Уральский рабочий»

620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

